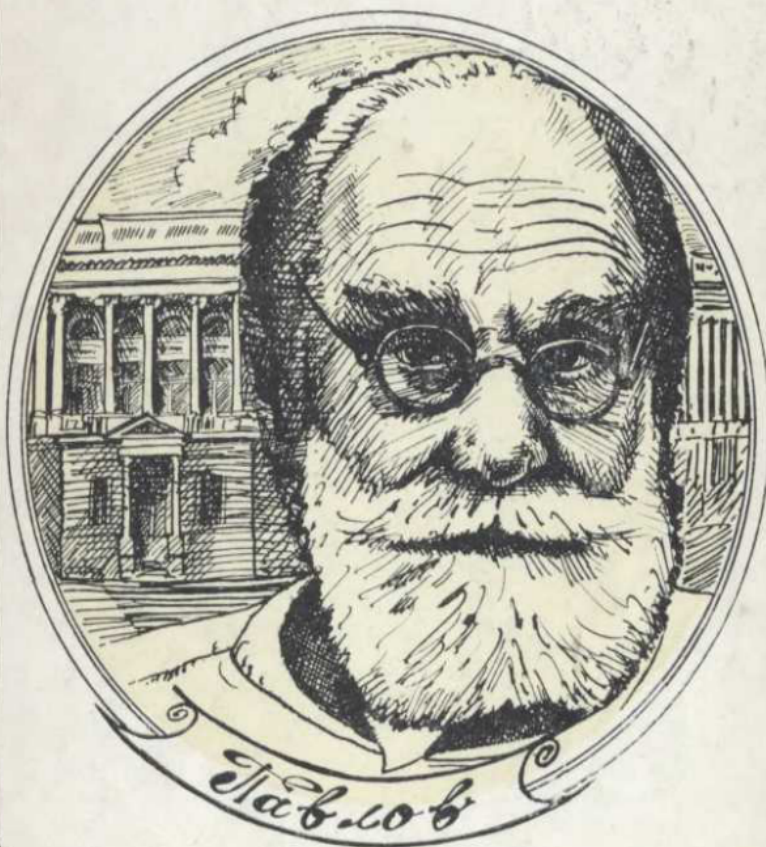


Елена Сапарина

ПОСЛЕДНЯЯ ТАЙНА ЖИЗНИ





SHOUT
SHARE IT

Annotation

Книга о великом русском ученом, выдающемся физиологе И. П. Павлове, об удивительной жизни этого замечательного человека, который должен был стать священником, а стал ученым-естествоиспытателем, борцом против религиозного учения о непознаваемой, таинственной душе. Вся его жизнь — пример активного гражданского подвига во имя науки и ради человека.

Для среднего школьного возраста.

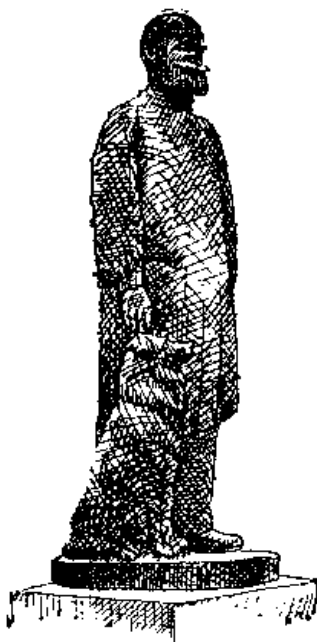
Издание второе.

-
-
-



О тех, кто первым ступил на неизведанные земли,
О мужественных людях — революционерах,
Кто в мир пришел, чтоб сделать его лучше.
О тех, кто проторил пути в науке и искусстве,
Кто с детства был настойчивым в стремленьях
И беззаветно к цели шел своей.

ПАВЛОВ



Имя его пользуется такою
громкою известностью в науке, что
мы можем, не останавливаясь на
подробном перечне его
многочисленных трудов,
ограничиться передачею важных
научных результатов, доставивших
ему славу и почетное имя в научном
мире не только России, но и всего
света.

Из представления в
Петербургскую Академию
наук

Увидев его, англичанин Герберт Уэллс сказал: «Если бы Бернарда Шоу постричь и расчесать бороду, то их почти нельзя было бы отличить». Американский ученый Дж. Б. Келлог, познакомившись с ним поближе, не устал повторять, что он легко мог быть величайшим драматическим артистом. Сам же он иногда сожалел, что не занялся физическим трудом («Если бы я не был ученым, я стал бы крестьянином»), который доставлял ему истинное удовольствие и был насущной потребностью. «Спасибо матери с отцом, что приучили меня к жизни простой и скромной».

Отец, впрочем, будучи сам священником, мечтал, что сын станет его преемником и будет верою и правдою служить богу и церкви. А сын замахнулся на святая святых церковного учения — бессмертную неуловимую душу. И всю жизнь, вдоль и поперек исследовав человеческое тело и мозг, доказывал, что психика имеет вполне земную, материальную основу и может быть изучена так же, как сердце или желудок. И никакой эфемерной, непостижимой души не существует вовсе.

Он стал выдающимся ученым, гордостью отечественной науки, «первым физиологом мира», как называли его коллеги на одном из международных съездов. Ему присудили Нобелевскую премию, избрали почетным членом 130 академий и научных обществ.

Ни один из наших ученых того времени, даже Д. и. Менделеев, не получил такой известности за рубежом. «Эта звезда, которая освещает мир, проливая свет на еще не изведанные пути», — говорил о нем Герберт Уэллс. Его называли «романтической, почти легендарной личностью», «гражданином мира».

Он прожил очень долгую жизнь. Детство его прошло еще при крепостном праве. А умер он незадолго до Отечественной войны, пережив вместе со своей страной три революции и первую мировую войну. Мы все знаем его со времен своих школьных лет, его портреты висят в классах, напечатаны на страницах учебников.

Для нас он давно стал личностью исторической, монументальной, откуда-то из далекого прошлого. Но тогда почему на американской выставке в Москве в 1959 году суперновинка тогдашней техники — электронно-вычислительная машина на вопрос: кто самый известный русский ученый в Америке? — «не задумываясь», ответила: ИВАН ПАВЛОВ.

Что дало И. Павлову возможность остаться нашим современником?

«Мы имеем дело с одной из последних тайн жизни, — писал он в самом начале своего многотрудного восхождения к вершинам о тех научных проблемах, которыми собирался заниматься, — с тайной того, каким образом природа, развиваясь по строгим неизменным законам, в лице человека стала осознавать самое себя».

Он вышел на штурм этой «последней тайны жизни» — человеческого сознания, мышления.

В чем же состояла тайна его жизни, внутренняя драматургия его незаурядной судьбы?



«СПАСИБО МАТЕРИ С ОТЦОМ...»

Когда Иван Павлов впервые прибыл в Петербург, было ему всего двадцать лет. Не сразу привык он к каменно-громадной северной столице. Все здесь было не так, как в родной Рязани. Дома все больше каменные, каменные же мосты, река и та камнем одета — нигде поросшего кустами берега не увидишь, ногой по земле не ступишь.

Камень — серый, вода в реке — серая, холодная. И пахнет не речной привычной сыростью, а незнакомым морским запахом — просмоленных канатов, гниющих водорослей. А корабли хоть и по реке плывут, но видно, что нездешние — огромные фрегаты с парусами, напивавшимися солеными морскими ветрами.

То ли дело родимый Трубеж, заваленный бревнами, загруженный барками, плотами, лодками. С крутым, в ивняке этим берегом и положим, луговым — противоположным. С обрыва видна широкая лента Оки. А уж про Оку и говорить нечего. Там золотые песчаные плесы и луга, луга без конца и края. Летом, в сенокос, весь город, бывало, пропахнет луговыми цветами, привяленной травой. Плывут по улочкам высоченные душистые возы сена на торжище — сенной базар.

Священнослужителю Павлову обычно отводили делянку для сенокоса на приокских заливных лугах. И отправлялись туда на косьбу всем семейством. Да и мать всегда собирала и сушила травы. С тех пор и привык Иван к летним травяным запахам, словно бы пропитался ими.

Каменного же мало было в Рязани. Разве в центре гордость города — знаменитый собор Бориса и Глеба да с десятков самых главных построек. А так — Рязань была деревянной. На Соборной площади булыжная мостовая, а тротуары все одно деревянные. На окраинной же Никольской, где жили Павловы, улица поросла травой, летом в жару прямо посреди нее купались в пыли куры. И дом их был деревянный, одноэтажный, с небольшой — в три окошка — светелкой наверху, где размещались сыновья и постояльцы — сельские ребята, приехавшие в город на учебу, которых мать для приработка брала на пансион.

Никольская — улица тенистая, вся в вязах и ветлах. Дом — за сплошным дощатым забором с высокой, тоже дощатой с крытым проемом калиткой. При доме яблоневый сад. Отец сам любил возиться в саду и сыновей сизмальства приучал к земле. И передал-таки свою любовь. На всю жизнь сохранил Иван привязанность к земле, всегда сам копал грядки, сажал овощи, ухаживал за деревьями и цветами.

В отцовском саду яблук в урожайные годы была тьма-тьмушая. Их и сушили, и продавали: все подспорье в хозяйстве, где много ртов — своих детей четверо, да племянники и другие родственники, коими бог не обидел.

А за домом пустырь — поросший бузиной и акацией «плац», как его все называли: раздолье для городков, в которые так любила играть рязанская детвора.

Как не хватало ему в чужом каменно-сером Петербурге этой травяной, деревянной, яблочной родной Рязани.

Тридцать шесть церквей насчитывалось в Рязани в ту пору. Отцу Ивану достался приход Николовысоковской церкви с длиннющей колокольной, за что и называвшейся чаще попросту Никола Долгошей. В сторожку к хромому звонарю Василию повадились бегать поповичи: слушали птиц, которых у того было

великое множество, лазали на колокольню гонять голубей.

А однажды — большие уж были, разбойники, — запустили с колокольни ночью бумажного змея с горящими, «дьявольскими» глазами, чем нагнали страха на всю округу. Хорошо, что городской Пафнutyч был большой любитель яблочной настойки, запасы которой хранились у отца Петра прямо в кабинете за синей занавесью. Тут, в кабинете, он и принял представителя правопорядка. И после весьма продолжительной беседы дело удалось решить миром.

Когда же городской отбыл восвояси, долго еще гремел в доме отцовский зычный бас. Крут и гневлив был отец Петр, но справедлив и вдумчив. А потому, остыв и поразмыслив спокойно, он соорудил для сыновей в саду около дома трапецию, навесил кольца, установил лестницу, брусья для занятий гимнастикой, чтобы вся «лишняя» сила в пользу шла, а не на баловство.

С тех пор и стал неразлучен Иван с гимнастикой. Силой обладал недюжинной и выносливостью отменной. Первый раз усталость стал чувствовать, когда ему семьдесят пять сровнялось. А до того неустойчивым был и здоровья богатырского, что немало пригодилось ему в кулачных боях, коих он хоть и не был любителем, но и в стороне стоять, когда шли стенка на стенку, не случалось.

Кулачными боями пробавлялись тогда в Рязани и взрослые и ребятишки. Городские шли против деревенских, «кутейники» — семинаристы — против «красных воротников» — гимназистов. Не сдюжишь или просто отлынишь от встречи — прослывешь трусом. А за Павловыми этого не водилось.

И еще одно зерно, посеянное отцом, легло в характере сына на благодатную почву. Большой любитель домашнего чтения, просвещенной беседы, отец Петр самолично приохотил детей к книге. Поначалу он было и отвел их к соседке-горбунье Павле Власовне, что обучала грамоте окрестных ребятишек всего за меру пшена в год. Да что-то на этот раз дело продвигалось туго: не складывались непонятные «веди», «рцы» и прочие буквы в знакомые слова. И тогда отец начал учить сыновей не по азбуке, а прямо по книжке. Были это басни И. А. Крылова. Они-то и стали для Ивана букварем и первой прочитанной книгой.

Годы спустя в кабинете академика Ивана Павлова на письменном столе всегда лежала эта книга, ставшая любимой. И никому из домашних не разрешалось перекладывать ее на другое место, хоть и по причине уборки. В таких случаях совсем по-отцовски сердито гремел хозяин дома:

— Эта вещь сорок лет лежит на этом месте и будет тут лежать!

В обширной отцовской библиотеке среди многочисленных подшивок «Губернских ведомостей», «Московских ведомостей», «Рязанских епархиальных ведомостей», самого популярного тогда журнала «Нива» с приложением сочинений классиков и прочей литературы, когда стал постарше, нашел как-то Иван книжку с красочными картинками, раз и навсегда поразившими его воображение. Называлась она «Физиология обыденной жизни», но, судя по оглавлению, была полна удивительных историй. «Муки голода. История Калькуттской черной пещеры. Народы, едящие глину... Узкие корсеты. Удушение 72 лиц на пароходе „Лондондерри“. Два самоубийства. Факиры» и дальше в том же духе. Автор — некто Г. Г. Льюис — рассказывал, впрочем, о самых прозаических вещах: пищеварении, дыхании, работе сердца, но так образно и живо, что они представляли совсем в ином свете.

Даже такая обыденная вещь, как работа желудка, выглядела в изложении автора почти фантастически. В этой удивительной книжке подробно рассказывалось о всевозможных приключениях пищи в желудке и кишечнике — тех химических чудесах, в результате которых хлеб, мясо, молоко превращаются в строительный материал и источник энергии для нашего тела.

Прочитанная дважды, как учил отец поступать с каждой книгой (правило, которому в дальнейшем сын следовал неукоснительно), «Физиология обыденной жизни» так глубоко запала ему в душу, что и будучи уже взрослым «первый физиолог мира» при каждом удобном случае на память цитировал отсюда целые страницы. И кто знает — стал бы он физиологом, не случись в детстве эта неожиданная встреча с наукой, так мастерски, с увлечением изложенной. Во всяком случае, первые научные работы будущего известного ученого были посвящены именно работе сердца и пищеварительного аппарата.

Истоки наших увлечений, влияющих порой на всю жизнь, — как часто уходят они глубоко в детство, когда сами мы еще не умеем и не можем сделать нужный выбор, и к нему вольно или невольно подталкивают нас родители. Низкий поклон от нас рязанскому священнику Павлову за те книги и журналы, которыми был до отказа набит шкаф в его кабинете, заполнены чердак, чуланы и каморки во всем доме и где однажды его сын нашел потрепанную книжку без обложки с врезавшимися в его цепкую детскую память картинками, на которых было изображено устройство живого насоса — человеческого сердца и нашей внутренней химической фабрики — желудка.

Все мы родом из детства. Академик Павлов чувствовал это особенно сильно. «Родился я в городе Рязани...» — так начинается он свою автобиографию. Он при каждом удобном случае

вспоминал и рассказывал эпизоды из своей рязанской жизни, хотя здесь прошла только его юность, — так крепки были корни, связывавшие его с родной Рязанщиной, и так многое определили они в его дальнейшей судьбе.

Он был неизменно привязан к родным, землякам, к самой Рязани. В доме Павловых в течение всей его жизни постоянно жили и подолгу гостили родственники и близкие рязанские знакомые.

— А как теперь Трубеж? Наверно, совсем обмелел? — спрашивал он годы спустя у своей сестры. И, услышав, что реку теперь не узнать — расчищена, русло углублено, так что и пароходы ходят, — радовался несказанно: — Хочется побывать в родных краях, да вот все никак не выберешься.

Выбрался он после долгого перерыва, всего за год до смерти. Земляки очень обрадовались именитому гостю, возили по городу, показывали свое хозяйство. А на прощанье подарили корзину рязанских яблок, с детства так любимых им.

Образы родного дома, воспоминания детства нередко использовались им и в научных собеседованиях для иллюстрации и доказательства своих выводов.

Самое же главное, что своей «детскости» он не утратил и в старости. Академик Павлов с неистощимым задором играл в игру рязанских школяров — городки. И не было для него большего удовольствия, чем выбить «пушку» или сорвать «запечатанное письмо». На всю жизнь осталась у него любовь к собиранию и коллекционированию бабочек. С какой живостью, несмотря на возраст, он гонялся за отсутствующими в его коллекции экземплярами.

Так много непосредственного, нередко наивного, чисто детского было в его характере!

«Не гоюсь я для жизни среди взрослых, — признавался он в одном из писем своей будущей жене. — Никогда нет примирения с этим жизненным комедиантством, с этой внешностью, так далекою от истинных желаний, намерений, чувств, мыслей. Ты счастлива тем, что можешь в твоих ребятишках видеть их душу до дна, видеть их истинные восторги, действительное горе, настоящие желания, видеть людей, а не обязательно актеров. Я завидую тебе. Я бы ликовал в этой истинно людской компании... Как влечет меня сейчас к этой детской компании и как мне хорошо представляется среди нее».

В детстве ему приходилось не только отцу в огороде помогать, но и матери в домашнем немалом хозяйстве: и дров наколоть, и воды из колодца принести, и печи в доме протопить. Печи с тех самых пор и до глубоких седин — где бы ни случилось

жить — топил всегда сам, и делал это мастерски. «Теперь печи топить не умеют», — ворчал сердито, но и с некоторою похвалой своему искусству.

«Спасибо матери с отцом...» — до самой старости не уставал повторять великий физиолог.

ДЕЛА БОЖЕСКИЕ И МИРСКИЕ

В роду Павловых — сколько знали и помнили — все были служителями церкви. Правда, все больше низшими церковными чинами — дьячками, пономарями. Отец будущего академика окончил семинарию и первым выбился в священники, званием этим дорожил и службу нёс исправно. Братья его — оба Иваны — не сподвиглись на столь успешную стезю. Один, несмотря на то, что был церковным служителем, слыл непобедимым в кулачных боях. Был подстережен завистниками, в одной из схваток исподтишка ударен, видимо, свинчаткой, чугунной гирей или чем другим недозволенным и вскорости скончался, оставив семью на попечение своего преуспевающего брата. А другой — ерник, весельчак, выпивоха — сам не удержался в священниках, бросил нудную церковную службу, стал бродяжничать, а потом и вовсе спился на вольных хлебах. Детей же его тоже пришлось поднимать брату.

Священник Николовысоковской церкви отец Петр стал таким образом единственной опорой всей многочисленной родни. Он принял это как должное, не огорчался излишне, с чисто крестьянской сноровкой старался поддержать свой бюджет огородом, яблоневым садом, прочим домашним хозяйством. Что же касается службы, то все обряды он справлял охотно, а проповеди читал с явным удовольствием. Рязанская консистория даже издавала эти его сочинения как образцовые.

Не зря, видно, он выписывал столько газет и журналов, стараясь, чтобы мирские дела не заслоняли духовных интересов. Любил изъясняться по-латыни и по-гречески. Письма сыну, когда тот уехал из Рязани, писал тоже все больше по-латыни. «Возлюбленный мой сын, как не радоваться мне, видя твои успехи на путях познания!»

Само собой, и сыновей своих он не мыслил иначе как с семинарским образованием. А потому, когда пришла пора, мать пошла для сыновей из старых отцовских ряс мундирчики, и глава семьи отвел их на Соборную площадь, где в белом

каменном доме помещалось Рязанское духовное училище. Дмитрию тогда было девять лет, а Ивану — все одиннадцать, но поступили они оба в первый класс. Года за два до этого случилась беда: раскладывая для просушки яблоки на крыше сарая, Иван упал с нее на каменную площадку и сильно зашибся. Не чаяли, что и поправится. Выручил родственник — игумен Троицкого монастыря: забрал крестника к себе, сам «прописал» ему физкультуру, обтирания, купания — выходил-таки, поставил на ноги. Привез в Рязань как раз к сроку, когда надо было начинать учебу. Так и пошли оба брата-разногодки в один класс.

А всего в училище было четыре класса. И предстояло тут братьям изучить святую историю Ветхого и Нового завета, церковное пение, чистописание, славянскую и русскую грамматику, арифметику — словом, азы божьей науки и грамоты.

Самая же главная премудрость должна была начаться в семинарии, куда братья поступили, окончив училище. Теперь по утрам они бежали по Никольской направо и сворачивали за угол на Семинарскую. В духовное же училище шагал тем временем младший брат — Петя. Других дорог к учебе для детей священника в ту пору в Рязани не было. А отец непременно хотел видеть сыновей образованными.

Особые надежды питал он в отношении старшего — Ивана. Выучится, станет священником, будет кому в старости передать свой приход. Да и по характеру он самый основательный, любит читать, на пустяки разные, как весельчак Дмитрий, не отвлекается. Даст бог, выйдет толк из мальчика. А пока пусть зубрит латынь и греческий, долбит богословие, штудировать философию, в риторике упражняется.

Семинария тех лет была уже не той твердолобой бурсой, что описана в знаменитом романе Помяловского. Конечно, тут вдосталь пичкали священным писанием, церковной историей. Однако же не забывали логику, психологию, педагогику и даже философию. Не последнее место занимали история, русская словесность, литература. Даже физику и математику должны были знать будущие церковнослужители. И не только древнюю латынь и греческий, но и французский с немецким. Были тут и уроки естественной истории. И сочинения писали на вольные темы, дабы развить в семинаристах способности к рассуждению и свободному изложению мыслей — как без этого обойтись будущим проповедникам? И дискутировать их обучали по всем правилам, чтоб и этим искусством ревностные служители церкви владели в совершенстве — мало ли какие вопросы могут задать им ретивые прихожане: надо уметь отбиваться.

Семинарист Иван Павлов особо преуспел по части дискуссий.

Заядлым спорщиком на всю жизнь остался, не любил, когда с ним соглашались, — так и кидался на противника, норовя опровергнуть его аргументы. Семинарская наука не пропала для него даром. И брата, и своих одноклассников, и даже отца вовлекал он в жаркие дискуссии, да только не по церковным догматам.

Случилось ему как-то прочесть статью неизвестного автора по фамилии Писарев. «Всемогущее естествознание держит в своих руках ключ к познанию всего мира», — было сказано там. Естествознание, а не абстрактная философия, которой пичкали их в семинарии. В ту пору такое заявление было настоящим откровением. Семинаристы стали разузнавать — кто такой этот Д. И. Писарев? Узнали: автор за свои вольнодумные писания, подрывающие основы церковного вероучения, сидит в Петропавловской крепости.

Семинаристы зачастили в Публичную библиотеку, что на Почтовой. Приходили задолго до открытия, толклись у порога, перебрасывались задиристыми репликами с гимназистами, тоже повадившимися ходить сюда. А как только дверь открывалась, разом вваливались в зал, норовя побыстрее ухватить очередной номер «Русского слова», где с продолжением печатались статьи вольнодумца Д. И. Писарева. И зачастую семинарист Иван Павлов первым овладевал заветным журналом.

Из статьи Д. И. Писарева «Прогресс в мире животных и растений» он узнал об учении Дарвина, об отнюдь не божественном происхождении человека. Д. И. Писарев убеждал, что наука должна стать «насущным хлебом каждого здорового человека».

В журнале «Современник» печатался роман другого автора — Н. Г. Чернышевского «Что делать?». Одна из статей Д. И. Писарева была посвящена «новым людям», описанным Н. Г. Чернышевским. Она так и называлась «Новый тип». А сам Н. Г. Чернышевский тоже, как выяснилось, сидел в Петропавловке.

Все это было странно и непонятно. В семинарии твердили про бога, бессмертную душу, загробную жизнь, про послушание и смирение. А в миру происходило что-то другое. Умные передовые люди призывали не к слепой вере, а к изучению важнейших жизненных проблем, к борьбе с косностью, благодушием, рутиной. И путь к этому они видели в естественных науках, призванных описать нам самих себя и наше место в природе и обществе.

Количество вольнодумных статей все множилось. Один из авторов — А. И. Герцен — вынужден был даже покинуть Россию и основать «Вольную русскую типографию» в Лондоне.

В «Медицинском вестнике» появилась статья известного ученого И. М. Сеченова «Рефлексы головного мозга». «Вам, конечно, случалось, любезный читатель, присутствовать на спорах о сущности души и ее зависимости от тела, — говорилось в ней. — Войдемте же, любезный читатель, в мир явлений, который родится из деятельности головного мозга».

Можно ли было не последовать этому приглашению?

«Смеется ли ребенок при виде игрушки, улыбается ли Гарибальди, когда его гонят за излишнюю любовь к родине, дрожит ли девушка при первой мысли о любви, создает ли Ньютон мировые законы и пишет их на бумаге — везде окончательным фактором является мышечное движение.... читателю становится разом понятно, что все без исключения качества внешних проявлений мозговой деятельности, которые мы характеризуем, например, словами: одушевленность, страстность, насмешка, печаль, радость и прочее, суть не что иное, как результат большего или меньшего укорочения какой-нибудь группы мышц, — акт, как всем известно, чисто механический».

Казалось бы, все так ново, интересно. Но на издание наложили арест, автора вызвали в суд. Почему? Его статью объявили проповедью распушенности нравов, стремлением разрушить моральные основы общества. Церковь усмотрела в ней попытку уничтожить, подорвать религиозное учение.

Семинарист Павлов не знал, где правда, но он буквально заболел «рефлексами». Мог ли он предполагать, что это слово, произнесенное И. М. Сеченовым, станет основой его будущего учения о работе мозга, которое перевернет прежние представления ученых? Много лет спустя академик Иван Павлов, выступая на собрании, посвященном столетию со дня рождения своего великого учителя, назовет И. М. Сеченова «отцом русской физиологии». И это наименование станет классической формулой вплоть до наших дней. А уже в наше время XIX век назовут веком И. М. Сеченова, а XX — веком И. П. Павлова.

Но все это будет потом. А пока каждый день семинариста Павлова начинается по звонку колокольчика однорукого служителя Филиппа. Мелькает в коридорах шелковая фиолетовая ряса отца Иоанна, стучит своим суховатым посохом протоиерей Харлампий. Размеренно диктует им греческие тексты Феофилакт Антонович Орлов — осанистый, с патриаршей бородой. Читает стихи Н. А. Некрасова быстрый, совсем не церковного облика, с бритым лицом и прямыми волосами Дмитрий Иванович Никольский.

На рождество по-прежнему семинаристы, запасшись

большими мешками в надежде на обильное угощение, славят Христа под окнами богатых горожан.

Иван Павлов пытается сочинять стихи — то под Беранже, то под Некрасова и все мечтает показать их бывшему вице-губернатору Рязани, известному писателю Салтыкову-Щедрину.

Но все чаще отвлекается он на естественные науки. Из старых отцовских очков соорудил микроскоп и зачастил в подвал к семинарскому медику. В сочинении на тему — поэзия не есть ли одно безделье, когда она в своих картинах и образах не следует действительности в том виде, как она есть на самом деле, безапелляционно заявляет: «Да, такая поэзия — безделье, потому что, как всякое безделье, она не приносит никакой пользы, а даже способна принести вред». И дальше утверждает, что истинную пользу могут принести лишь естественные науки.

А в диспуте на тему — лежит ли душе закон человеческий — умудряется произнести и вовсе богохульные слова о каком-то рефлексе, который будто вместо души у человека. И все это как на грех в присутствии самого архиепископа.

А ведь так гладко и складно шло поначалу. Но не успел его предшественник выговорить заключительные слова — «Итак, все сказанное подтверждает, что душа, как сущность, независима от тела, не подчиняется и не может подчиняться физическим законам жизни человеческой и для нее нет иных законов, кроме тех, которые установлены божественным промыслом», — как этот крамольник Павлов накинулся на него, словно в кулачной драке.

— Да, это так, если отбросить данные новейшей науки, которыми, очевидно, не располагает господин. — И, отвесив неприменный поклон в сторону его преосвященства, продолжал: — Я позволю себе задать только один вопрос: что такое рефлекс? Я вижу, мой противник побледнел, кровь отлила от его лица. А почему? Думаю, вследствие испуга. Господин боится проиграть наш спор и, услышав незнакомое слово, которое он не может истолковать, перепугался. Следовательно, не в душе лежит причина его бледности, а во внешнем раздражении. И так, если основываться на показаниях опыта, бывает всегда. Вот тут я и подхожу к понятию рефлекса. Что это такое? Отражение того, что мы видим, слышим, ощущаем. Осмелюсь заявить: душа есть не что иное, как рефлекс. А все духовное есть земное...

И это говорит будущий священнослужитель! Да как же это совместимо с тем саном, которым он будет облечен по окончании семинарии? Вызвать секуторов для битья розгами? Так вроде велик по возрасту для такой экзекуции. Сообщить отцу, чтоб забрал от греха подальше своего неразумного отпрыска?

Приглашенный для беседы священнослужитель Павлов был

немало удивлен таким оборотом дел. Но еще больше изумился он, доверительно побеседовав дома с сыном. Выяснилось, что тот и сам имеет намерение из семинарии уйти и совершенствоваться в естественных науках.

«Под влиянием литературы шестидесятых годов, в особенности Писарева, — напишет он потом в автобиографии, — наши умственные интересы обратились в сторону естествознания — и многие из нас — в числе этих и я — решили изучать в университете естественные науки».

«РАССУДИВШИ ЗАНИМАТЬСЯ ЕСТЕСТВЕННЫМИ НАУКАМИ»

Ранним сентябрьским утром поезд прибыл в Петербург. Из вагона, робея, вышли трое рязанских семинаристов: Иван Павлов, Владимир Гольцов и Николай Быстров. Двое последних — одноклассники и приятели Ивана, квартировавшие у них в доме. Прожив бок о бок в крохотном получердачном мезонине, где помещала своих квартирантов мать Павлова, все годы семинарской учебы и сдружившись за это время, они и здесь решили не разлучаться, вместе попытать счастья в новой петербургской жизни.

Громады дворцов, колоннады величественных зданий, узорные чугунные решетки, каменные львы, застывшие у порталов, просторные площади, купол Исаакия, золоченый шпиль иглы Адмиралтейства открылись им в своей первозданной красе.

Примолкшие, шагали они по только начинавшему просыпаться городу. Пересекли Дворцовую площадь с колонной посередине и вышли к Неве. Закованная в гранит, свинцово-серая под низко нависшими темными осенними облаками, река дохнула на них холодом и сыростью. На том берегу, за излучиной, казалось, прямо из воды поднимались мрачные каменные стены и башни печально знаменитого каземата. Так вот она какая, Петропавловская крепость, где томились прославленные узники — Н. Г. Чернышевский, Д. И. Писарев, где были написаны и роман «Что делать?», и вольнодумные писаревские статьи, разбередившие им душу, заставившие обычных семинаристов из рязанской провинции оторваться от отчего дома и устремиться на поиски своего, нового пути в жизни!

Целью их был университет. Почему Петербургский? В городе на Неве жил автор «рефлексов» И. М. Сеченов. Именно это

обстоятельство стало для Ивана Павлова решающим при выборе места дальнейшей учебы. И хотя от Рязани до Москвы было рукой подать, он отправился за восемьсот верст в Петербург, поближе к И. М. Сеченову. Остальные потянулись за ним, чтобы не ломать компанию. Да и сноровистее вместе-то.

Расставание с отчим домом, как ни странно, прошло более или менее мирно. Конечно, отец, узнав о намерении сына вместо богословия изучать естественные науки, сильно огорчился. Но, поняв, что сыну не по душе служить заутрени да вечерни, крестить новорожденных и отпевать покойников, не стал чинить препятствий к отъезду.

— Как хочешь, — сказал он, когда тот объявил ему о своем решении, — дело твое.

И даже рассказал, как он сам, без всякой посторонней помощи пробивал себе дорогу, прошагав пешком без малого двести верст от родной деревни до Рязани, чтобы поступить здесь в семинарию.

С крестьянской хитроватой прозорливостью (мало ли как сложится дальше жизнь) он сходил к благочинному и запасся «свидетельством о бедности». В бумаге той говорилось, что, мол, священнослужитель Павлов по бедности не может содержать своего сына и просит принять его на государственные харчи. В действительности же дела обстояли совсем не так плохо.

У священника Павлова, переведенного к этому времени в церковь при Лазаревском кладбище и получившего по месту новой службы казенное жилье, по-прежнему остался свой дом. И матушка-попадья теперь целиком отвела его под пансион. А за каждого квартиранта плохо-бедно платили три рубля в месяц. Да и яблонево́й сад, ставший питомником лучших сортов чуть не для всей Рязани, давал доход. Не считая тех гривенников и пятаков, которые обильно сыпались в кошелек священника, служившего при кладбищенской церкви. Так что матушка даже служанку завела для подспорья в домашних делах. И, собирая сына в дорогу, она набила всякими домашними припасами полную корзину. Туда же вместо благословения положила полотенце с собственноручной вышивкой: «Кто прям, тот упрям».

Отец при прощании растрогался и все повторял:

— Летом, на вакации... ждем.

И сын приезжал на вакации каждое лето, пока была возможность. А долгими зимами писал отцу подробные письма, которые тот, надев очки в железной оправе, внимательно прочитывал, сидя в своем кабинете, и складывал в шкаф, где хранились, кроме того, и семинарские сочинения старшего сына как на русском, так и на латыни и на греческом.

Тридцать лет длилась эта переписка. Как о многом могли бы нам рассказать теперь письма молодого Павлова, да не уберег их отец, как ни старался. Случился в доме Павловых пожар — и сгорели эти бесценные реликвии вместе со шкафом...

Погрузив пожитки сына в желтый увесистый чемодан да прихватив немалую корзину с провиантом, вся семья отправилась на путевый двор, или вокзал, как тогда говорили (железная дорога была в новинку, ее только-только проложили к Рязани). Здесь груз подхватили проворные носильщики в белых фартуках и с фирменными бляхами. Подали локомотив. В ту пору каждый из них имел собственное имя. Павлов — он хорошо это запомнил — ехал на «С. Полякове».

«Как раз за год до моего приезда в Петербург, — вспоминал он потом, — Лессепс Суэцкий канал достроил... и вообще тогда ведь даже в электрическую лампочку никто не верил — считали абсурдом».

Но «чугунка» была уже реальностью. И в первое свое путешествие рязанские молодцы отправились на новейшем транспорте. Как водится, только в начале пути думали о доме, о тех, кого оставили. Затем мысли их обратились к Петербургу, к вожденному университету.

...И вот теперь, вдоволь побродив по городу, они шли через Дворцовый мост на Васильевский остров, приближаясь к цели. Перед ними замаячило растянувшееся чуть не на полверсты строение и двенадцать примыкающих к нему одинаковых трехэтажных корпусов.

Университетский двор был заполнен сотнями таких же, как они, юношей, съехавшихся сюда с разных концов России. Забиты молодежью были все коридоры и вестибюль. Впоследствии Павлов не раз вспоминал о могучем потоке, который мощно влился в русло науки в те годы. Будущий знаменитый почвовед Василий Докучаев и будущий изобретатель радио Александр Попов, впоследствии выдающийся математик Александр Ляпунов и ботаник Иван Бородин, в дальнейшем сподвижник Павлова физиолог Николай Введенский и его научный противник невролог Владимир Бехтерев — все они прибыли в Петербург почти одновременно.

Бывший рязанский семинарист Иван Павлов вынул из чемодана свои бумаги и вошел в канцелярию университета. Прошение его превосходительству действительному статскому советнику ректору императорского Санкт-Петербургского университета Карлу Федоровичу Кесслеру было написано им заблаговременно.

«Окончив полный курс общеобразовательных наук в

Рязанской духовной семинарии, — говорилось в нем, — покорнейше прошу Ваше Превосходительство принять меня в число студентов Императорского Санкт-Петербургского университета по Юридическому факультету и тому же разряду. При сем прилагаю: свидетельство об успехах и поведении, метрическое свидетельство о рождении, копии с них, формулярный описок о службе родителя моего, города Рязани Лазарево-кладбищенской церкви священника Петра Дмитриевича Павлова за 1869 год, свидетельство о бедности Благочинного и удостоверение Инспектора о моем поведении.

Августа 1870 года Иван Павлов руку приложил».

Свидетельства о поведении и учебе подтверждали прилежание «весьма ревностное» и успехи семинариста Ивана Павлова в положенных науках — «очень хорошие, отлично хорошие и весьма хорошие». Юридический же факультет был назван в прошении потому, что при поступлении на него не надо было сдавать математику, на которую будущий естествоиспытатель своевременно должного внимания не обратил. И чтобы не срезаться по математике, он избрал обходной путь, имея в виду некоторую хитрость, к которой собирался прибегнуть какое-то время спустя.

Успешно сдав экзамены и будучи зачислен в университет, Иван достал второе прошение, также заранее заготовленное, и отнес его в канцелярию. Все к тому же Карлу Федоровичу Кесслеру:

«Рассудивши заниматься естественными науками, покорнейше прошу Ваше Превосходительство переместить меня с Юридического факультета на Физико-математический по естественному отделению».

Что делать: молодо-зелено, не сразу сподобился сделать правильный выбор. Карл Федорович, помнится, заприметил этого семинариста из поповичей: ростом невысок, но коренаст, кряжист, с каштановой густой бородой, отпущенной явно для солидности, серьезен, вдумчив... И ректор подписал прошение.

Но каково же было его недоумение, когда ровно через год история повторилась. В университет вновь сдал экзамены рязанский семинарист Павлов — тоже на юридический факультет. Откуда же было ректору знать, что это брат Ивана — Дмитрий, по причине веселого характера и неусидчивости оставшийся в третьем классе семинарии на второй год, теперь идет по стопам старшего. Еще больше изумился Карл Федорович, когда месяц спустя после зачисления получил от Дмитрия Павлова второе прошение и в нем опять: «Рассудивши заниматься

естественными науками, покорнейше прошу переместить меня...»

Конечно, если подходить строго, надо было оставить все как есть: вовремя думать полагается, чего скакать с места на место? С другой стороны, от человека гораздо больше пользы, когда он на своем месте находится. И Карл Федорович хоть и не сразу, но разрешил студенту первого курса юридического факультета Дмитрию Павлову перейти на естественное отделение.

Однако же когда такая ситуация возникла в третий раз — о, мой бог, сколько там этих Павловых в Рязани?! — ректор категорически отказался переводить очередного студента Павлова, «рассудивши», что за всем этим кроется явное нарушение столь любезных его немецкому сердцу параграфов.

Но что за беда? У Павловых и это было предусмотрено. Младший — Петр — отлично ладил с математикой и легко сдал экзамены прямо на естественное отделение.

Знал бы любезнейший Карл Федорович, какое великое благо он совершил, подписывая пресловутые прошения, не без известной хитрости составленные братьями с легкой руки старшего — Ивана. Все трое стали учеными. Иван — физиологом, Дмитрий — химиком, Петр — зоологом. Но только Иван Павлов стал выдающимся исследователем.

Сбылась заветная мечта. Иван Павлов стал студентом-естественником. С гордостью и в то же время с душевным трепетом ходил он по гулким университетским коридорам, слушал лекции прославленных ученых.

Химию читал Дмитрий Иванович Менделеев — молодой, длинноволосый, златокудрый. Была зима 1870/71 года — как раз в это время он свел свои наблюдения и исследования в единую таблицу, принесшую ему мировую известность. Все вещества оказались связаны между собой строгой, вполне определенной зависимостью. Знаменитая таблица Менделеева, вошедшая теперь во все учебники, тогда зарождалась прямо на глазах студентов. Они стали очевидцами одного из крупнейших научных открытий нашего века...

Александр Михайлович Бутлеров продолжал тему дальше: его лекции были посвящены органике. И тоже преподносил студентам самое последнее слово науки: только что удалось наконец покончить с таинственной «жизненной силой», которая будто бы отличает живое вещество от неживого. Именно тогда органическое вещество впервые удалось синтезировать в лаборатории из обычных неорганических и тем самым доказать, что непреодолимой границы между ними нет. Это тоже была настоящая революция, определившая целую эпоху в науке.

Ивана Михайловича Сеченова, отлученного за свои

«рефлексы» от преподавания в Медико-хирургической академии, можно было встретить в лабораторном корпусе университета, где этот скромный, внешне неприметный человек с темными волосами и слегка тронутым оспой лицом, неизменно напевая, производил опыты, так сказать, из любви к науке и с любезного разрешения Дмитрия Ивановича Менделеева. Кто мог предполагать, что, вернувшись в Петербург из Одессы, куда загонит его царская администрация за неугодную ей науку, И. М. Сеченов первым делом посетит лабораторию теперешнего студента Ивана Павлова и своим тихим голосом, без нажима произнесет слова, которые его заочный ученик и почитатель будет с благодарностью вспоминать все оставшиеся годы: «Раньше я считал лучшим физиологом-экспериментатором Карла Людвига. Теперь вижу, что первенство принадлежит вам».

КОМПАНИЯ БРАТЬЕВ ПАВЛОВЫХ

Студент Иван Павлов с головой погрузился в учение. Поселился он с одним из своих рязанских приятелей здесь же, на Васильевском острове, неподалеку от университета, в доме баронессы Раль. «Литейный мост был еще деревянный, плашкоутный... — вспоминал он позже, — ходили конки. Всегда, бывало, норовлю за пяточок проехаться на самой крыше, на „империале“. И даже лучше, приятнее...» (Что касается «приятности», то это было абсолютной правдой: и став академиком, Павлов норовил так вот, по-студенчески, проехаться на «империале», не преминув при этом обязательно вступить в разговор со случайными попутчиками.)

Тогда же пяточки и те нередко приходилось экономить и преодолевать казавшиеся после Рязани большими петербургские расстояния пешком. Зато на всю жизнь осталась привычка мерить шагами столичные ли улицы, деревенские ли проселки.

С деньгами было туго. Казенного кошта не хватало. Тем более что в результате перемещений с юридического отделения на естественное студент Павлов, как опоздавший, лишился стипендии и рассчитывать надо было теперь только на самого себя. Приходилось прирабатывать частными уроками, переводами, в студенческой столовой налегать главным образом на бесплатный хлеб, сдабривая для разнообразия горчицей, — благо его давали сколько угодно.

Особенно трудно пришлось в первый год без брата Дмитрия,

который сызмальства, еще с тех пор, как Иван, упав с крыши, долго был слабым и болезненным, привык опекать старшего брата во всех житейских делах, в коих тот был полнейший профан.

Общительный Дмитрий, весельчак и балагур, обосновавшись в Петербурге, быстро завел обширные знакомства, наладил нехитрый студенческий быт. Квартиру братья переменили — поселились хоть и подальше от университета, зато подешевле платили, и улица чем-то напоминала рязанские — тихая, даже травка кое-где пробивается. И дом деревянный, с родительским чем-то схож.

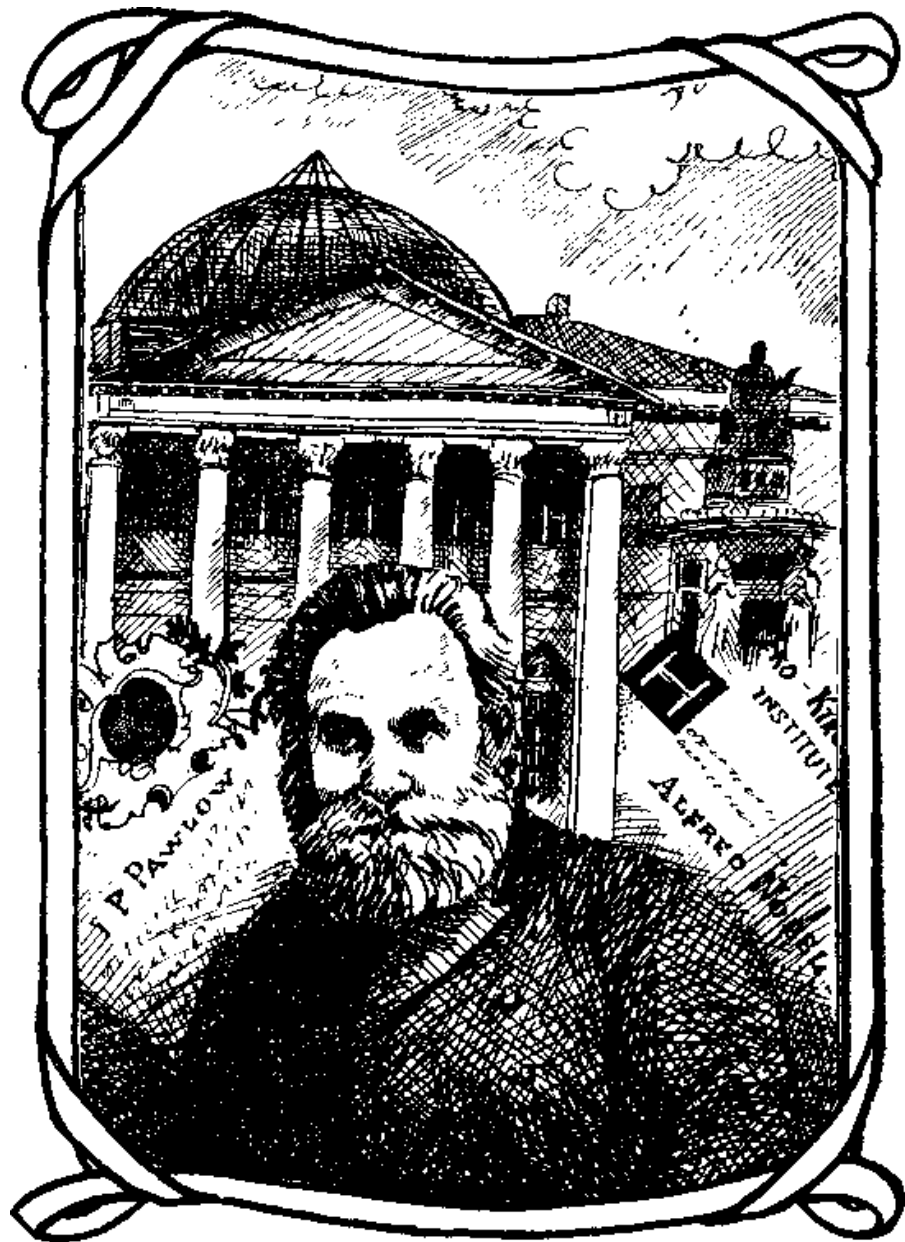
Какое это важное дело — не слишком резко менять обстановку, — братья Павловы убедились вскоре на своем опыте. Не так-то просто было оторваться от родных корней и не пропасть в чужом городе, в новой среде, к которой не каждый, как оказалось, может приспособиться.

«Во время моего первого пребывания в Петербурге (это было шестьдесят лет тому назад), — рассказывал И. Павлов, — как раз два моих товарища душевно заболели. Один в меланхолию впал, с попытками на самоубийство, а у другого, очевидно (как я теперь знаю), началась шизофрения. Началось это у него со странных выходов, вроде того, что в первый раз, я помню (мы с ним в одной комнате жили)... я лег спать, а он еще остался заниматься. Через некоторое время он будит меня и говорит: „Посмотри“. Я смотрю, он занимается тем, что из шкафа платье переносит на диван, а потом назад. Я говорю: „Что ты дурака валяешь?“ и заснул.

Через некоторое время уже другая штука. (А как трудно вообразить, что человек уже не тот!) Я лег спать, а он остался бодрствовать. Через некоторое время, как и в первый раз, будит меня, и я вижу, что он собирает разные вещи, книги, еще что-то такое, какой-то кредитный билет, все это зажег и предлагает мне на это посмотреть. Я обругал его, затушил огонь и предложил ему лечь спать. Ну и кончилось тем, что в несколько дней совсем с ума спятил.

Пришлось отвезти сначала в приемный покой, а после, совсем больного, на родину...

Провоцирующей причиной была, конечно, как мы теперь сказали бы, ломка стереотипа... Конечно, исключительно слабый тип у того и у другого. Но ведь вам сейчас трудно даже представить, какая это для бедного мозга была пертурбация — поступление на естественный!



Ведь в семинарии чем набивали голову, как сейчас вспомню: о хриях естественных и о хриях искусственных... о хрии прямой и афонианской... виды хрий превращенных... А тут — бац! Микроскоп, скальпель... режь, препарируй лягушку... клеточка, протоплазма... Ну, человек и спятил!..

А ведь другого спасли. Нашелся в то время умный психиатр. „Вы, говорит, перейдите-ка на гуманитарный факультет“. Тот и послушался... Кажется, на юридический... И что же? Не из

последних был в свое время людей! Так вот оно что значит для слабых-то стереотип сломать!»

Братья Павловы, несомненно, принадлежали к людям сильного нервно-психического склада. Сам Иван Павлов относил себя к сильному безудержному типу. («Вы меня знаете: слабым никогда не был... сильный, конечно, любые эти свои стереотипы всегда может сломать...») Однако и ему в первый год пришлось туговато: к весне он совсем выбился из сил, даже нервы стали пошаливать. И по настоянию врачей экзамены за первый курс ему перенесли на осень. Побывав дома, отдохнув за лето, он успешно сдал их. Да и родная душа — брат Митя был теперь с ним, может, потому и Петербург не казался уже таким чужим.

Основательностью, трудолюбием, целеустремленностью Иван был весь в отца. А вот Дмитрий при большом внешнем сходстве с Иваном — та же густая каштановая борода на молодом лице, голубые, какие-то пронзительные глаза, коренаст, широк в плечах — был совсем другой по характеру. Сильный — на кулачный ли бой, на другие ли какие забавы такого рода... Безудержный — на веселые выдумки, розыгрыши, точь-в-точь как его родной дядька — брат отца. Тот тоже ну просто не мог удержаться, чтобы не созорничать, хотя ни по возрасту, ни тем более по сану ему это не было дозволено.

Все дядино озорство, словно по наследству, племяннику Дмитрию досталось. Большой искусник был по части розыгрыша, не всегда и доброй шутки. И первым под его разящие стрелы брат Иван попадал.

Младший — Петр — был высок, тонок, белокур. Учился легко, и преподаватели из всех братьев именно его выделяли. Еще студентом он к научной работе приобщился. А когда окончил университет, стал птицами заниматься, и дела у него шли весьма успешно. Старший — Иван — как ученый позже в силу вошел, но и став знаменитым, всегда повторял: «Мой Петя был много способнее меня...»

Может, потому так мнилось Ивану Павлову, что рано и трагически ушел из жизни брат Петр. Как-то зимой, будучи на каникулах в родной Рязани, братья отправились на зимнюю охоту. Иван, не любивший этой забавы, дома остался, а младший — Сергей, мальчонка еще, — упросил, чтобы и его взяли. Однако, бредя по глубокому снегу, видно, устал, не удержался, свалился в яму. Петр протянул ему ружье — держись! И стал тащить. Тут и случилось непоправимое: в суматохе зацепил курок, раздался выстрел — весь заряд дрови в Петра попал, да еще с такого близкого расстояния, почти в упор...

Дмитрию его веселый характер учиться не очень мешал. А вот

Ивану, хоть он и не был сухарем, такое непрестанное веселье («... помню, газеты били тревогу: поветрием распространялся канкан... Отчаяннейший был танец! Иная дама норовит, бывало, цилиндр сбросить со своего партнера носком ботинка... Многие мои приятели увлекались им страшно...») стало надоедать.

«Мне кажется, что основной целью молодости должно было приучить себя думать, — скажет он потом. — Думать — это упорно исследовать предмет, иметь его в виду и ныне, и завтра, писать, говорить, спорить о нем, подходить к нему с одной и другой стороны, собрать все доводы в пользу того или другого мнения о нем, устранить все возражения, признать пробелы там, где они есть, короче — испытать и радость и горе серьезного умственного напряжения, умственного труда.

Только так действуя теперь, в молодости, ты никогда впоследствии не согласишься расстаться с этими ощущениями, променять их на что-нибудь, только тогда умственная потребность окажется действительно неистребимой потребностью».

Это были не расплывчатые мечтания, а вполне определенная жизненная позиция. И в ней уже ясно заявлено и о необходимости «непрестанного думания» о предмете своих занятий, и о том, что умственная работа — труд, и труд тяжкий, и о радости высшего духовного наслаждения, которую он приносит тем, кто отважится посвятить себя служению науке.

И по всему было видно, что старший из братьев обрек себя именно на такое беззаветное служение и непрерывный труд. Из всех перипетий своей петербургской жизни старался он извлечь пользу для становления самого себя как будущего служителя науки.

Когда пришлось прирабатывать, давая уроки, он тотчас постарался развить в себе педагогические способности. Ведь если он станет в дальнейшем читать лекции — ему эти навыки весьма пригодятся. И так преуспел в этом, что порой всерьез подумывал, а не стоило ли ему вообще пойти в педагоги и преподавать в гимназии или хотя бы в народной школе.

Собиралась у Павловых очередная разнородная и большая компания, созданная жизнелюбивым Дмитрием. Иван и тут не терялся: не только слушает разговоры, но и старается приучить себя о своем предмете с любым собеседником говорить просто, доходчиво и с должным увлечением. Даже Митю заразил, что-то вроде соревнования устроили. С тех пор оба владели ораторским искусством и могли без подготовки выступать перед самой разной аудиторией.

Зайдет ли опор о чем-либо — тут оба брата самые умелые,

этому они еще с семинарских времен обучены. А за студенческие годы еще увереннее стали их ответы противнику, острее выпады. И как сгодилось это умение вести дискуссии, когда пришлось потом свои взгляды в научных спорах отстаивать, истинную науку от всякого рода домыслов и откровенных нападок защищать.

«Какая бесконечная вереница споров! — вспоминал позже академик Павлов эти студенческие годы. — Ничтожный повод — и начинается спор, и этот спор поднимается до высшего градуса... Я не знаю предмета, которого бы они не касались... И это не были разбросанные сведения... Мы не могли понять, как это можно жить без общего взгляда на мир и жизнь».

Тогда-то Иван Павлов и составил своего рода программу жизни, в которой было четко определено, чем он должен заниматься и как поступать в том или ином случае. И этим собственноручно выработанным принципам он в дальнейшем неукоснительно следовал.

Однако столь нужные жизненные правила выкристаллизовывались не сразу. Он их буквально выстрадал. Было ему без малого уже тридцать лет, а он все метался в поисках тех принципов, по которым надлежит жизнь строить: на какие свойства своей натуры следует опереться, что надо развить в себе, чему уделить первостепенное внимание. И тут многое было еще неясно, неопределенно. И грустилось ему, и хандра, бывало наваливалась, и даже «ныть» случалось — ну, разумеется перед самыми близкими.

А самым близким другом для него стала в это время слушательница женских курсов Серафима Васильевна Карчевская, которая тоже приехала в Петербург учиться и мечтала стать учительницей.

Когда она, окончив учение, уехала в глухую провинцию, чтобы работать в сельской школе, Иван Павлов стал изливаться ей в письмах.

Письма любимой... О чем пишут обычно другу сердца? О своих чувствах, о жестокой разлуке, о возможных планах будущей жизни. Иван Павлов писал невесте о недостатках своего характера и трудностях, которые ее ждут в случае, если она станет его женой; о своих сумбурных настроениях и о том, что следует развивать, непременно нужно — свой ум; о том, чему он думает посвятить жизнь и что следует ей в себе исправить...

В этих письмах так ясно вырисовывается самое становление неординарной личности Павлова. К счастью, они сохранились. Прочтите их: выдержки из них перед вами.

Так называлась газета в письмах, которая начала выходить во время первой разлуки студента Петербургского университета и слушательницы женских курсов. Издатель ее — Иван Павлов — в первом номере сообщал своей читательнице, что газета «Попался!» будет отражением жизни, с ее смехом, радостью, горем, серьезным раздумьем. Состояло это «еженедельное издание случайного происхождения, неопределенного направления, с трудно предсказуемой будущностью» из доброго десятка страниц каждое. Здесь была и обязательная редакционная статья, и фельетон, и, как водится, объявления.

Позже по желанию читательницы название газеты было изменено. И выходила она в продолжение всех летних вакаций, которые издатель и его корреспондентка, увы, проводили поврозь.

Когда же читательница этой необычной газеты отбыла к месту работы и разлука грозила стать более продолжительной, издателю стало уже не до смеха. И он принялся писать «просто письма», правда, иногда по нескольку на день. Брат Митя уверял потом корреспондентку, будто весь этот долгий год Иван только и делал, что писал ей письма или читал ответные...

«Суббота, 13 сентября 1880 года, 8 часов утра

...Я сейчас как бы расстроенная гитара, которой настраивают струну за струной. Струна гимнастики настроена. К ней теперь пристраивается струна лабораторных занятий. Начинаю ходить исправно в лабораторию, и гимнастика, несмотря на большой физический труд в продолжение дня, дает мне силу довольно легко его переносить. Крепчаю с гимнастики заметно не только для себя, но и на глазах других. Остались еще неустроенными, неподтянутыми струны научных домашних занятий и постороннего чтения. Но не сразу же! Чувствую только, что к этому идет. Решил (и ты увидишь, что выполняю) никуда не ходить — ни в гости, ни в театры, — пока действительно не устану так, чтобы испытать заслуженный отдых. И заиграет же наша гитара на радость себе и тебе, моя милая, и всем другим, как она игрывала-таки в прошлом.

Твой...

Что бы там ни было, не пропадем!»

«Четверг, 25 сентября 1880 года, 8 часов утра

Э-э, милая, съехала наконец-таки на нашу систему. Сколько раз мы толковали с тобой о роде занятий!.. Ты всегда стояла за

работу порывом, по вдохновению. А теперь запела другое: „Вот если бы обязательное дело было...“

...То, что ты говорила раньше, — чувствовал, знал и я в более молодые годы и с этим все время боролся и борюсь. Да, это почти необходимость тех лет, когда все еще ново, возбуждает, привлекает то то, то другое, трогает — и глубоко до нарушения всякой программы, всякого порядка новая мысль, новое чувство, новое лицо, особенные обстоятельства и т. д. Но также верно, что все это не должно оставаться на всю жизнь, это бросание должно сменить систематическое преследование определенной программы, определенного плана. Можно ли с этим спорить? Раз так, то понятно, что не всякую минуту будет двигать тебя восторг, вдохновение, сплошь и рядом за твоим делом удержит тебя раз навсегда принятая на себя обязанность. Так мне представляется. Как тебе?

Сейчас сильно раздумываю вот о чем. Как бы заставить себя думать? Я всегда был того мнения, что мы ужасно мало думаем. А теперь мне пришло в голову, что и часто, несмотря на другую видимость, все же мысли-то, думанья нет или оно очень незначительно. Вот, например, я вчера читал лекцию три часа, вечером читал литературу одного физиологического вопроса. А думал ли я? Быть ли довольным вчерашним днем в отношении достаточной умственной работы или нет? Это вопрос! Во время лекции я не выдумал ни одной мысли, да это редко и приходится. Говорил известное изложение, не представляющее никакого затруднения. Вечером читал, правда, для меня новое, но совсем простое, не требующее для своего понимания ни малейшего напряжения. Таким образом, за целый день ни одного нового соображения. Работал я вчера умственно или нет? Ей-богу, не умел бы ответить. Думается мне, что должно быть другое мерило умственной работы, другая, истинная умственная работа. Вот и подумая, поищу...

Много целую тебя. Кланяйся твоим».

«Пятница, 3 октября 1880 года, 8 часов утра

Вчера я был на рубинштейновском концерте... И знаешь, что шло у меня в голове под все эти звуки? Вот я все плачусь, каюсь перед тобой, все взываю к правде, равенству. И вот я когда-нибудь снова могу остаться один. Было горько до слез от этой мысли. Но звуки сделали свое, они подсказали мне: „Нет, ты не будешь один, с тобой будет твой всегдашний друг, неизменный, сильный своею помощью — правда“. И вдруг сделался я силен, как будто уж и в самом деле нас всегда, всегда двое, что бы ни случилось в жизни. Я пишу это и, узнай, плачу с чего-то...

Горячо целую тебя».

«...12 часов ночи.

Мои нынешние утренние слезы, вероятно, много одолжены и вчерашней музыке. Я так давно не слышал ее.

Но все равно. Эти слезы все же очень для меня дороги, как ясно вяжу теперь. Они что животворящий дождь для моей довольно-таки высохшей души. И причина всему — ты, одна ты, навсегда, глубоко любимая моя. Целую тебя. Да, я лучше становлюсь, т. е. больше чувством понимаю хорошее. И через тебя, моя милая. Мне верится сейчас больше, чем когда-либо до сих пор, что нас не обманут наши расчеты, наши надежды на нашу любовь, на ее возвышенную, облагораживающую силу. Мы будем, наконец, вполне свободны и мыслью и чувствами друг перед другом — и вместе понятны и дороги друг другу».

«Суббота, 11 октября 1880 года, 8 часов утра

...Ты возвращаешь мне утраченную было молодость. Я вижу каждый день, каждую минуту, как оживают, воскресают один за другим в моей душе мысли, чувства, ощущения лучших годов. Я снова верю в силу мысли, в торжество правды, в правду идеальной нормальной жизни... Я верю в возврат навсегда той незаменяемой, несравненной молодости, над которой плакался в письмах к тебе в позапрошлую вакацию...

И все это только через тебя, моя дорогая!.. Ты нераздельно связана с тем, чем буду жить всегда...

Ты меня увидишь таким, каким я хотел до сих пор быть, но все не мог... И потому прочь между нами все мелочи, все шаблонное. Да, мы должны улучшать, совершенствовать друг друга — и в этом успехе нашем только должна быть наша радость, наша обязанность, наш вопрос, наша цель».

«Понедельник, 20 октября 1880 года, 3 часа утра

Здравствуй, моя хорошая. Ты жалуешься на перо, моя милая. Не права, не права. Посмотри-ка, как исправно оно служило тебе в этом письме. Читая его, я как будто был с тобой целый вечер, прослушал все твои движения, разговоры и с тобой и со мной, видел все твои выражения лица. Ведь, право, так.

А твое состояние, милая, в этот вечер отчетливо меланхолическое. Ведь чем оно характерно? Тем, что против каждого утешительного соображения непременно есть неприятное, сколько ты ни рассуждай. И это отлично выступает в твоём письме.

Да, это, конечно, отлично переданное меланхолическое

состояние, но что же из этого? Его нужно гнать как болезненное, неприятное? Совсем нет... Об этой меланхолии я высокого мнения. Может, это пристрастное суждение по себе? Не знаю, но по крайней мере я убежден в этом. Мне представляется следующее: человек имеет две противоположные стороны и так устроен, что в каждый момент видит только одну. Хорошо настроен — только светлую. Дурно — только серую. Значит, полная истина-то о себе дается только этим состоянием. И вот почему я ценю и минуты меланхолии — это уже плохо, конец развития, совершенствования, коли человек видит в себе только хорошее. Чего ему уж развиваться, когда и так он хорош, без пятнышек. И ты сама отлично понимаешь это, как очевидно доказывает твоя последняя фраза письма...

«Среда 9 22 октября 1880 года, 1 час дня

...Милая, верю, что тебе, как и всем, далеко, далеко до идеала (ой, не оскорбись! Чувство собственного достоинства того и жди заворчит. На него полагаться плохо: привередливо, каналья!). Разве я говорил о тебе когда, что ты закончена, что из ума и сердца своего сделала употребление — и большего желать и искать нечего?.. Я мог бы многое наказать тебе, чего тебе недостает, составляет твои недостатки — и я постепенно сделаю это. И, таким образом, я дам тебе доказательство реальное, что я вовсе не слеп по отношению к тебе.

Но тем более ты должна поверить, что я никогда не откажусь от своего беспристрастного (ведь я же не сплошь восхищаюсь тобой) взгляда на твой ум, на твое сердце, которые, поставленные справедливо, составят хорошее человеческое счастье тебя, меня и всех тех, к кому в жизни мы будем иметь отношение... Не больше ли изменюсь и сам в хорошую сторону, имея приятелем, женой близкого человека, которому предстоит еще такое большое развитие. Ну, что, довольна, убедилась?»

«Суббота, 25 октября 1880 года, 11 часов ночи

...Моя жизнь в последние годы все более и более сбивалась с настоящего человеческого пути. Хандрилось недаром, не без оснований... Я жил все это время фактически один, для себя самого, внутри самого себя, только по одним собственным, личным, значит, эгоистическим побуждениям. Это не могло привести к добру...

Недалеко ходить, и это имело важное значение: я живу вот уж три года, а может быть и больше, с Митей, хотя только каждый день убеждаюсь, как мы с ним расходимся, как невыгодно для меня это сожитие. Он счастливого, веселого нрава человек — и

благо ему в этом. Но человек без умственного и нравственного мира. Живя с ним, я многое должен был держать в себе взаперти, без практики, и многое таким образом хорошо позабыл... Ты, мое сокровище, тот приятель, о котором я не переставал мечтать все это время...

Прежде я работал много и с жаром, разжигаемый самим делом. Только успех награждал за труд и побуждал идти дальше. С течением времени все более и более отвлекалось внимание воспоминанием о сделанном, услаждением успехом. У тебя не идет дело, ты заленился, ну и что ж? Ты ведь уж сделал кое-что, в тебя верят, тебя ценят. Но ведь, конечно, жизнь воспоминаниями невозможна. И при старом оставаясь, ты, собственно, беднееешь тем больше, чем дальше. Это и есть так. С тобой, еще воюющей за свое достоинство, еще борющейся, после моих последних поражений, я хочу (и сделаю это) опять набирать в себя, а не растрчивать только старое добро».

«Среда, 5 ноября 1880 года, 11 часов ночи

...Теперь позволь, моя милая, поговорить о твоих недостатках... Я всегда самую отрадную, самую приятную (говоря по опыту) сторону содружества видел в откровенном указании недостатков, конечно, взаимном. Заметь, это моя неискоренимая черта. Я не мог бы жить с человеком, который не желал знать и не допускал меня высказать моих впечатлений относительно его различных сторон. Такие ведь люди бывают, и хорошие даже. Ты из каких? Я совсем не знаю этой стороны твоего характера. Милая моя, обдумай этот вопрос старательно и передай мне, к чему придешь. Про меня говорить в этом отношении нечего. Мне можно говорить и действительно говорят, что только кому взбредет, а справедливое, хотя и горькое, и подавно все целиком принимается. Я понимаю, однако, и как это может быть трудно. Может быть, я действительно очень резко высказывался об этом предмете... тебе могло представиться, что я теперь меньше тебя люблю, меньше уважаю, когда заговорил о твоих недостатках... люблю тебя даже больше потому, что имею перед собой живого человека, относительно которого уверяюсь, что знаю его во всей его действительности, а не какой-то всегда подозрительный идеал...»

Их сблизил Шекспир. В Петербурге в то время гастролировал знаменитый итальянский артист Росси. Молодежь не пропускала ни одного спектакля с его участием. Многим, впрочем, казалось, что вечные проблемы шекспировских пьес несовременны, имеют лишь исторический интерес. Но только не его почитательнице Серафиме Карчевской и не менее горячему его поклоннику — Ивану Павлову.

А поскольку молодая курсистка всякого нового знакомого, говоря ее словами, «стремилась прочесть, охотно перелистывая в разговоре его мысли и чувства», то и обнаружила незамедлительно в великовозрастном студенте «скрытую духовную силу», которая, как призналась она много позднее, «всю жизнь поддерживала его в работе и обаянию которой невольно подчинялись все его сотрудники и приятели».

Незаметно для себя подчинилась этому влиянию и Серафима Карчевская.

Среди друзей Иван Павлов был признанным авторитетом, пытался вырабатывать собственные взгляды по самым разным научным проблемам, увлеченно фантазировал, мучительно искал возможность изучать социальные вопросы и психологию человека каким-либо точным методом, наподобие тех, что используются в физиологии. Он и в литературе ценит в первую очередь те произведения, где есть отголоски такого поиска.

Надо более конкретно представлять, как устроена наша психика, чтобы правильно воздействовать на нее. В то время романы (а это была эпоха пространных, многосложных эпических литературных форм) в какой-то мере восполняли недостающие научные знания о психике человека: о глубинных душевных силах, управляющих людьми, о мотивах их поступков, о внешнем их проявлении в поведении, об умении находить нужные решения в сложных жизненных ситуациях и делать правильный выбор цели действия.

Раз литература опередила точную науку, хотя и ведет свой поиск на ощупь, значит, надо постигать то, что сделано самыми талантливыми литераторами.

А их было не занимать. 70—80-е годы прошлого столетия — это время Н. А. Некрасова, И. С. Тургенева, А. Н. Островского, М. Е. Салтыкова-Щедрина, Ф. М. Достоевского. Они не были еще хрестоматийными классиками, с «полными собраниями сочинений», портретами на обложках, памятниками в скверах. Это были писатели, жившие в тех же домах, ходившие по тем же улицам, что и петербургские (или московские) студенты.

С ними можно было встретиться на литературных вечерах, послушать их публичные выступления, побеседовать о новом,

только что вышедшем романе. Они и сами нередко спорили, не сходясь в оценках друг друга или взглядах на мир, а случалось, и ссорились. Классическая литература рождалась на глазах соотечественников, и они были не только свидетелями, но и непосредственными участниками многих событий литературной жизни.

И конечно же, самой трагической, противоречивой и сложной фигурой тех лет был Федор Михайлович Достоевский.

Иван Павлов и Серафима Карчевская считали Ф. М. Достоевского самым близким по мироощущению писателем. И. Павлов ценил в нем «страстную до мучения любовь ко всему, что страдает на земле, желание помочь униженным и оскорбленным, указать им путь к счастью». Он называл Ф. М. Достоевского «человеком с душой, которой дано вмещать души других».

Как-то им довелось вместе слушать выступление Федора Михайловича Достоевского на одном из литературных вечеров. Курсистка С. Карчевская записала, как это происходило. «Первым читал Тургенев, величественный человек с изящным поклоном и красивой осанкой, с гривой седых волос над выразительным, умным лицом... Читал Тургенев артистически — на разные голоса — и умел интонацией охарактеризовать каждое лицо... „Певцы“ встали перед публикой как живые. После Тургенева выступал Достоевский, любимец студентов и курсисток. Вот он, маленький, бледный, болезненного вида, с мутными глазами, вышел на сцену и начал читать слабым голосом. Слушатели огорчились: их кумир выглядел беспомощно, явно уступая Тургеневу. Но постепенно голос Федора Михайловича крепчал, и присутствовавших поразило перевоплощение — „на сцене был пророк“. Лицо Достоевского преобразилось. Глаза метали молнии, которые жгли сердца слушателей, а лицо блистало вдохновенной высшей силой...

По окончании чтения публика кричала, стучала, ломала стулья и в бешеном сумасшествии выкрикивала: " До-сто-ев-ский!!!!"

Я не помню, кто подал мне пальто. Закрывшись им, я плакала от восторга! Как я дошла домой и кто меня провожал, решительно не помню. Уже позже узнала я, что провожал меня Иван Петрович. Это сильно сблизило нас".

При таком почитании и преклонении Ф. М. Достоевский был в то же время доступен для обыденного общения. К нему приходили запросто: поговорить о жизни, посоветоваться. Шли как на исповедь, веря в силу его слова. И даже Серафима Карчевская позже бывала у него дома, неоднократно беседовала с ним и выслушивала советы.

К тому времени все его произведения были уже изданы, и он приступил к написанию последнего романа — "Братья Карамазовы", который в 1879/80 году печатался в журнале "Русский вестник". В нем Ф. М. Достоевский достиг наивысших психологических глубин. Иван Павлов, особо интересовавшийся всякого рода психологическими изысканиями, с нетерпением дожидался каждой новой книжки журнала.

Когда же была напечатана та часть романа, которая посвящена Ивану Карамазову — "жизнелюбцу, безбожнику, стремившемуся к безусловному простору в действии, бесконечной глубине постижения, старавшемуся не фантазировать зря, а всегда оставаться при факте", — И. Павлов неожиданно обнаружил в нем много общего с самим собой.

"Только что прочел новую часть "Братьев Карамазовых" в августовской книжке, — писал он невесте. — Чем более читал, тем беспокойнее становилось на сердце: как ни толкуй, пропасть похожего на твоего нежного и сердечного почитателя. Пока читал спешно, не могу входить в подробности; вероятно, ныне же во второй раз прочту — и тогда потолкуемся. Как ты? Имеешь привычку перечитывать романы?"

В рассуждениях об Иване Карамазове ясно прослеживается давно мучающая И. Павлова мысль: необходимо найти научные способы исследования человеческой психики, чтобы поставить ее на службу самому же человеку.

Тридцатилетний Иван Павлов, сам еще мятущийся, еще весь на распутье (несмотря на подспудную, не осознаваемую им направленность всех сил души в единое, пусть не сформулированное словами русло научного поиска, научного творчества), достиг в своем мироощущении поистине философских вершин. Эдаким духом познания, своего рода Мефистофелем — охотником за человеческой душой чувствует он себя. "...Честь имею объявиться, прошу любить и жаловать: современный Мефистофель — это я!.. — писал он С. Карчевской. — Нет спора, что в этом мы имеем дело с одной из последних тайн жизни, с тайной того, каким образом природа, развивающаяся по строгим, неизменным законам, в лице человека стала сознать самое себя. Что из этого должно выйти и как это может сочетаться?"

Что из этого вышло, мы теперь знаем. А тогда было известно лишь, что студент-естественник Иван Павлов, почитатель Ф. М. Достоевского, по собственному признанию, "близкий по натуре" одному из героев его последнего романа, смысл душевной трагедии Ивана Карамазова видит в неизученности таинственной человеческой психики. И вольно или невольно Иван Павлов уже

сделал свой главный жизненный выбор, определил свою "сверхзадачу": он будет пытаться раскрыть эту "последнюю тайну жизни".

Он еще не вполне осознает всю грандиозность и тяжесть ноши, которую с поистине мефистофельской лихостью взвалит на себя. Он еще ищет и пробует. Но мыто знаем: он непременно найдет, и сил — обыкновенных, человеческих — ему на это хватит, хотя и потребуются их сверх меры. А пока пусть поиграет в Мефистофеля, в тайны и секреты. Делать-то работу — черновую, бесконечную, многотрудную — придется ему самому.

ЕГО "ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ"

Душевные метания, поиски самого себя, жалобы на "недостаток умственного и нравственного возбуждения", свойственного молодости, были, по существу, возрастным кризисом. Кончалась затянувшаяся юность. Иван Павлов вступал в пору зрелости. "Критический период", как он сам называл этот рубеж, был им преодолен, и весьма своеобразно.

"Только молодости принадлежат истинные чувства и истинный вкус жизни, только в ней человек более всего походит на человека, — писал он, размышляя об этом времени. — Вся остальная жизнь есть какое-то систематическое безобразие, возмутительное изувечивание человеческой природы... Я уверен: если бы человеку, уже переделанному жизнью, заведшему известный строй, возратить на минуту способность думать и чувствовать так, как он думал и чувствовал в молодости, он заболел бы, умер бы, убил бы самого себя от презрения к себе..."

Едва почувствовав, что порывы молодости начинают гаснуть в его душе, Павлов с решительностью стал искать выход и нашел его в том, чтобы не порывать связей с юностью, навсегда остаться молодым.

Чтобы поддерживать ту бодрость духа, которая, как известно, сохраняется в здоровом теле, Иван Павлов вогнал свою жизнь в железные рамки самодисциплины. Каждый день — обязательная гимнастика утром; вплоть до самой старости летом, в дождь ли, в холод — непременно купание в холодной воде; в университет, на работу — всюду, где только можно, — пешком (случалось и в подаваемый ему в академические годы "форд" усаживать сотрудиц, а самому добираться до дому своим ходом, да еще легко обгоняя молодых коллег). И работа, работа, знаменитое

павловское "неотступное думание".

Только человек, "действительно развивший в себе логическую силу, будет всегда неудержимо влечься в область мысли. И такой переход к периоду логической работы от периода фантазий неизбежен, если человек не хочет разорвать с умственной жизнью... Это и есть умственный рост, — говорил И. Павлов. — Как же должен осуществляться этот естественный, разумный переход поры молодости в фазу полного умственного развития? Вообще, сказать кратко, это должно выразиться в специальном научном изучении чего-нибудь".

Этим "чем-нибудь" для И. Павлова стала физиология, которая, как он усвоил еще из прочитанной в детстве книги Г. Льюиса, ближе других естественных наук стоит к познанию тайн человеческого организма. Серьезная научная работа, непрерывная, всепоглощающая, стала его бессменным жизненным увлечением.

И именно на этом перекрестке окончательно разошлись его пути с братом Дмитрием, хотя оба сохранили друг к другу теплую привязанность и были всю жизнь дружны.

Легкой, веселой натуры брата оказался не по плечу столь неустанный душевный труд. Он не понимал, почему нужно отказывать себе в удовольствиях и развлечениях ради умственных радостей. Дмитрий Павлов тоже занимался наукой, но в меру, не отдавая все силы и все время своей химии. И считал это вполне правомочным. Старший брат пытался его переубедить, сердился, в сердцах даже "бездельником", случалось, называл, но так и не смог переделать Дмитрия на свой лад. И они пошли каждый своим путем. Один — по прямой, ровной дороге вперед. Другой — по крутой, горной тропе к вершине. А когда путь к вершинам был легким?

Со свойственным ему неистощимым трудолюбием Иван Павлов принялся осиливать фундамент грандиозного здания науки.

Долгожданный курс физиологии он стал слушать еще на втором курсе университета. Читал его профессор Филипп Васильевич Овсянников — известный ученый, академик. А Илья Фаддеевич Цион — воспитанник Киевского и Берлинского университетов, работавший до этого за границей и удостоенный золотых медалей Французской академии, — демонстрировал студентам науку в натуре: в опытах на животных. И делал это мастерски, с настоящим артистизмом.

Он считался крупным специалистом по кровообращению. И студенту Павлову врезалось в память, как легко и изящно на первом же занятии Илья Фаддеевич "раскрыл" перед ними тело

подопытного кролика и обнажил пульсирующее сердце. Словно ожили картинки из заветной детской книжки про внутреннее устройство живого организма.

Ритмично сокращался сердечный насос, гнал живительную, несущую кислород кровь по сосудам. Вот она, "река жизни", о которой было прочитано еще у Льюиса! А вдоль кровеносных сосудов тянулись тонкие белые ниточки нервов, сливались в толстые нервные стволы, устремлялись к "верховному главнокомандующему" — мозгу, который рассылал по ним управляющие команды.

Как замороженный, слушал студент Павлов объяснения профессора Циона. "Мы были прямо поражены его мастерски простым изложением самых сложных физиологических вопросов, — напишет он позже, — и его поистине артистической способностью ставить опыты. Такой учитель не забывается на всю жизнь. Под его руководством я делал свою первую физиологическую работу".

Само собой, она касалась сердца, нервов, управляющих его ритмом. Впервые Павлову довелось самому отыскивать плохо различимые ниточки нервов, отделять их от тканей, проследивать, где они проходят. И все это на живой подопытной собаке, при бьющемся сердце, дышащих легких, как говорится, на подвижном операционном поле.

Вот тогда-то студент Павлов понял, что будущий физиолог прежде всего должен быть отличным хирургом.

Его руководитель И. Ф. Цион не просто блестяще владел хирургической техникой. Он был настоящий виртуоз. Оперировал быстро, аккуратно, с каким-то особым шиком. Ему ничего не стоило явиться на вечерние занятия со студентами во фраке и прооперировать собаку или кролика, даже не сняв белоснежных перчаток. И, не запятнав свою одежду ни единой каплей крови, прямо из лаборатории отправиться на бал или званый вечер.

Иван Павлов, идя по стопам учителя, стал первоклассным хирургом, причем, будучи левшой, научился одинаково блистательно действовать как правой, так и левой рукой. Нередко академик Павлов, недовольный неповоротливостью ассистента, сам брался за скальпель и становился к операционному столу. В таком случае операция заканчивалась, как говорится, не успев начаться. Пока окружающие думали, что идет только подготовка к работе, Павлов уже стягивал хирургические перчатки и шел мыть руки...

Студент Павлов все время проводил в физиологической лаборатории, не менее азартно, чем его учитель, увлеченный научным поиском. Илья Фаддеевич все чаще поручал ему

самостоятельные исследования, связанные не только с деятельностью сердца, но и с работой желудка, где тоже имелось много не объясненных наукой "белых пятен".

Студенческие научные работы И. Павлова заслушивались на университетских научных заседаниях и даже были отмечены золотой медалью. Он получал уже не простую, а императорскую стипендию. Но так много сил и времени было им потрачено на любимую физиологию, что, когда подошло время выпускных экзаменов, Павлов неожиданно для себя понял: ему никак не уложиться в оставшиеся сроки, и... сам себя оставил на последнем курсе на второй год.

Прошение о том, что он "возымел намерение пребыть на четвертом курсе два года", было удовлетворено. Но этот лишний год был опять-таки посвящен им своей избраннице — физиологии. Тем не менее университетские экзамены были тоже сданы. Иван Павлов получил звание кандидата по разряду естественных наук и право стать лаборантом в любом учебном или научном учреждении России.

Однако Иван Павлов снова стал студентом. Окончив университет, он поступил на третий курс Медико-хирургической академии, бывшей тогда одним из лучших учебных заведений Европы. Поступил "не с целью сделаться врачом", как он сам объяснял свое решение, а с тем чтобы, имея степень доктора медицины, впоследствии снискать право занять кафедру физиологии.

Знал бы "вечный студент" Павлов, сколько сил придется ему потратить, чтобы со временем получить такую кафедру! Десять лет жизни уйдет у него на это подлинное "хождение по мукам", пока не осуществится его заветная цель. Сколько тягот, волнений, жизненных неурядиц и горестей переживет он, через какие испытания пройдет!

В столь решающее десятилетие войдут и годы успешной учебы в академии, и последующее пребывание в адъюнктуре при ней, и продолжительная заграничная командировка для усовершенствования полученных знаний. И одновременно работа ассистентом на кафедре физиологии, а потом в лаборатории Клинической больницы, и самостоятельные научные исследования, которые будут занимать все больше и больше места в жизни Ивана Петровича Павлова, и работа над докторской диссертацией.

Но это же десятилетие будет самым тяжелым для него и для его семьи. Постоянная нехватка средств на жизнь ("Не хватало денег, чтобы купить мебель, кухонную, столовую и чайную посуду", — вспоминала его жена). Бесконечные скитания по

чужим квартирам — долгое время Павловы жили вместе с братом Дмитрием в полагавшейся ему университетской квартире. Тяжелейшее несчастье — гибель первенца, а буквально через год опять неожиданная смерть малолетнего сына, отчаяние Серафимы Васильевны, ее продолжительная болезнь. Все это выбивало из колеи, отнимало силы, столь необходимые для научных занятий.

А дело не ждало. И экзамены никто не отменял — их только по окончании академии надо было сдать двадцать семь! Да и конкурс для "оставления при академии" был немалый: из 244 выпускников лишь 46 получили право участвовать в нем, но только семерых должны были принять, выбрав тайным голосованием лучших из лучших, скрытых от жюри под девизами. Для Павлова это была единственная возможность продолжать занятия наукой. В случае неудачи он должен был немедленно отправиться для прохождения службы в 32-й Кременчугский полк военным врачом. Сочинение под девизом: "Спешить думать — плохо думать" — оказалось на четвертом месте. Его автором был Иван Петрович Павлов.

Но не всегда дела шли так успешно, не все ладилось и с научной работой. И был такой год, который жена Павлова назовет "отчаянным", — когда мужество изменило Ивану Петровичу и он изуверился в своих силах и в возможности кардинально изменить жизнь семьи. И тогда Серафима Васильевна, которая уже не была той восторженной курсисткой, какой начинала свою семейную жизнь, принялась подбадривать и утешать мужа и вывела-таки его из глубокой меланхолии. По ее настоянию Иван Петрович вплотную занялся диссертацией.

Защитившись и став доктором, И. П. Павлов не смог получить кафедру — в Петербурге не оказалось свободной. И, помыкавшись без места, он вынужден был написать прошение министру народного просвещения И. Д. Делянову с просьбой "предоставить ему кафедру любой из экспериментальных наук в любом из университетов России". Однако никто не спешил обеспечить молодого ученого работой по специальности. И он решил ехать в Сибирь, в Томск, где как раз организовывался университет. Но предпочтение отдали другому соискателю, хотя он был зоологом, а не физиологом. И. П. Павлов пытается поступить в свою alma mater — Петербургский университет, но снова неудача: на выборах проходит не он. И только с третьей попытки он наконец становится профессором кафедры фармакологии той самой академии, слушателем которой он недавно состоял.



Впоследствии он напишет об этом скупо, несколькими фразами обрисовав столь многотрудное десятилетие:

"Вплоть до профессуры в 1890 году, уже женатому и имевшему сына, в денежном отношении постоянно приходилось очень туго, наконец на 41-м году жизни я получил профессуру, получил собственную лабораторию... Таким образом вдруг оказались и достаточные денежные средства, и широкая возможность делать в лаборатории что хочешь".

Начиналась же павловская большая наука совсем с малого.

В глубине запущенного сада при Петербургской клинике профессора С. П. Боткина примостился крохотный деревянный домишко о двух комнатах — что-то вроде бывшей больничной баньки. Внутри — асфальтовый пол, дощатые стены, несколько обшарпанных столов да потерянные стулья.

Однако с некоторых пор сюда зачастили врачи. Вечерами, а то и всю ночь напролет тускло светились крохотные оконца, слышался собачий лай. Каждое утро, секунда в секунду на пороге домика появлялся молодой еще человек, которого совсем не старила густая борода. Бодрой походкой (и не скажешь, что он прошагал порядочный путь с Васильевского острова сюда, на Выборгскую сторону) он поднимался по ступенькам и энергично распахивал дверь. Его встречал залиvistый собачий лай.

Десять лет ежедневно приходил сюда Иван Петрович Павлов (а иногда, если опыт затягивался, прибежал и ночью — взглянуть, как идут дела). Два-три сотрудника да служитель, присматривающий за собаками, — его штат. Почти полное отсутствие лабораторного оборудования (термостат и тот был изготовлен собственноручно из пустой банки из-под сардин, самодельного штатива да маленькой керосиновой лампы), в одной из комнат — операционная для собак, в другой — клетки с выздоравливающими животными — вот весь набор средств, с помощью которого И. П. Павлов ставил свои опыты, принесшие ему вскоре мировую известность.

В трудные годы учебы в Медико-хирургической академии судьба подарила ему две встречи, которые заметно повлияли на его научный рост. Лекции по хирургии в академии читал Николай Васильевич Склифосовский — лучший хирург России, прославившийся своими смелыми, новаторскими операциями на всю страну. Больные приезжали к нему из самых глухих мест и неизменно находили теплый душевный прием, получали необходимую помощь.

Сам к тому времени прекрасно владевший хирургической техникой, И. П. Павлов, наблюдая работу Н. В. Склифосовского, понял, что не менее важно при операциях и последующем лечении применять новейшие достижения науки, в первую очередь противовоспалительные препараты. И хотя И. П. Павлов

оперировал всего лишь собак, готовя их для своих физиологических опытов, выхаживали их теперь не менее тщательно, чем больных людей, пока раны полностью не заживали и животное не возвращалось к обычному образу жизни.

Благодаря этому Ивану Петровичу удалось перейти к совершенно новым экспериментам, которые он назвал "хроническими" опытами в отличие от "острых", что применялись в физиологии до него. Это были эксперименты на предварительно прооперированном, но вылеченном, здоровом животном, наблюдения над которым велись не на операционном столе, под наркозом, как было раньше, а в течение многих недель или месяцев спокойной, нормальной жизни.

Лекции другого выдающегося клинициста того времени — Сергея Петровича Боткина — не отличались блестящей формой. Говорил он медленно, не всегда сразу мог подобрать необходимые слова, по несколько раз возвращался к уже сказанному ранее. Зато он учил логике медицинского мышления и считал, что будущий врач обязательно должен сам проводить физиологические эксперименты на животных, прежде чем давать рекомендации больным людям. К тому же он был очень независим и смел в своих суждениях. Вернувшись с русско-турецкой войны, с негодованием говорил о непорядках в армии, которой командовал великий князь. Ходили слухи, что С. П. Боткин был одним из немногих, кто отважился просить царя о помиловании Н. Г. Чернышевского.

Главное же — он был сторонником научного эксперимента в медицине, что тогда признавали далеко не все преподаватели Медико-хирургической академии. Для этой цели и создал он при своей клинике экспериментальную лабораторию, в которую пришел работать студент академии Иван Петрович Павлов.

В то время в лаборатории изучали и проверяли действия лекарств при заболевании сердечно-сосудистой системы. Само собой, и диссертация И. П. Павлова была связана с сердцем и кровообращением.

Однако Сергей Петрович Боткин в разговорах часто жаловался, что физиология в долгу у медицины и в другом не менее важном жизненном вопросе — пищеварении. Слишком мало было тогда известно о нормальной работе желудка, печени, кишечника, чтобы можно было правильно установить диагноз в случае заболеваний органов пищеварения. Эту область науки фактически надо было создавать заново. А Иван Петрович Павлов уже пробовал свои силы и в этом вопросе, будучи еще студентом университета. Необходимо было так построить опыт, чтобы можно было снаружи наблюдать за пищеварительными

процессами.

Как это сделать? И тут ему на память (в который уже раз!) пришла книжка Льюиса, прочитанная еще в семинарии. В ней приводилось описание любопытного случая. К канадскому врачу как-то попал необычный пациент. Он был ранен на охоте в живот. Исход, казалось, был предreshен. Однако больной выжил, правда, рана срослась неправильно: оболочка желудка приросла к краю кожи, и образовалось отверстие, через которое было видно все, что делается внутри желудка.

Физиологи воспользовались неожиданной подсказкой и в дальнейшем сами стали проделывать такое "окошко" в желудке подопытных собак. Однако наблюдать за процессами в желудке, брать пробы сока мешала находившаяся там пища. Надо было кормить собак, чтобы желудок начал работать, и в то же время избавиться от пищи, получать для лабораторных анализов чистый, без пищевых примесей, желудочный сок. Как этого добиться?

И. П. Павлов решил эту задачу просто и оригинально. Он проделал два "окошка": одно — в стенке желудка, другое — в пищеводе. Теперь пища, которой кормили прооперированную и вылеченную собаку, не доходила до желудка, вываливалась из отверстия в пищеводе наружу. Но желудок успевал получить сигнал, что пища в организм поступила, и начинал готовиться к работе: усиленно выделять необходимый для переваривания сок. Его можно было спокойно брать из второго отверстия и исследовать без помех.

Так родился удивительный эксперимент, с легкой руки И. П. Павлова названный "мнимым кормлением". Собака могла часами глотать одну и ту же порцию пищи, которая дальше пищевода не попадала, а экспериментатор работал в это время с обильно льющим желудочным соком. Можно было варьировать пищу (вместо хлеба давать молоко или мясо) и наблюдать, как соответственно меняется химический состав желудочного сока. Или даже давать подопытной собаке заведомо несъедобные вещества: песок или мелкие камешки — и смотреть, как справляется ее желудок с такой сложной задачей.

Но главное было в другом. Впервые удалось экспериментально доказать, что работа желудка зависит от нервной системы и управляется ею. Ведь в опытах мнимого кормления пища не попадала непосредственно в желудок, а он начинал работать. Стало быть, команду он получал по нервам, идущим от рта и пищевода. В то же время стоило перерезать идущие к желудку нервы — и сок переставал выделяться.

Другими способами доказать регулирующую роль нервной

системы в пищеварении было просто невозможно. Ивану Петровичу Павлову это удалось сделать впервые, оставив далеко позади своих зарубежных коллег и даже самого Р. Гейденгайна, чей авторитет был признан всеми в Европе и к которому И. П. Павлов совсем недавно ездил набираться опыта.

Мнимое кормление стало первым звеном в тех изобретательных физиологических экспериментах, которые отличали в дальнейшем научное творчество великого ученого. Успех этих опытов окончательно переключил его на исследование пищеварения. Деятельностью сердца он больше не занимался.

Теперь, как никогда, И. П. Павлов ощутил потребность в собственной лаборатории, где он мог бы решать интересующие его проблемы. В клинике Сергея Петровича Боткина И. П. Павлов, по его собственным словам, работал, "не разбирая, что мое, что чужое". Около десятка диссертаций врачей боткинской клиники были созданы на основе павловских экспериментов и при его непосредственном участии. Ассистенту Павлову пора было выходить на самостоятельную дорогу.

Но пройдет еще несколько лет, пока он наконец получит кафедру и станет полновластным распорядителем своих научных изысканий. Кафедра фармакологии академии, которую стал возглавлять Иван Петрович Павлов, размещалась в старинном здании на углу Нижегородской улицы и набережной Невы. Недавно построенный Литейный мост соединил теперь напрямую Выборгскую сторону с центром города. Высокие узкие окна фасада смотрели на Неву.

Быстрый, подвижный, на ходу энергично жестикулирующий, профессор И. П. Павлов (по-прежнему ранним утром и боже упаси пропустить хоть один день) взбегал по широкой лестнице на бельэтаж. Минуя двери бывшей квартиры известного химика и композитора А. П. Бородин, где еще недавно звучали отрывки из "Князя Игоря" и собирались музыканты "Могучей кучки" и откуда теперь, после смерти хозяина, не доносилось ни звука, он направлялся в самый конец длинного коридора.

Кабинет профессора помещался в крохотной комнатке с одним окном. В двух других таких же комнатках размещались операционная и кладовая. Самая же большая и светлая, с четырьмя огромными окнами предназначалась для опытов. Узкая лесенка вела из лаборатории в подвал, где находились подопытные животные и комната ухаживавшего за ними служителя.

Здесь было, несомненно, просторнее и удобнее, чем в лаборатории С. П. Боткина, хотя оборудования и средств на его приобретение по-прежнему не хватало. Тем не менее теперь и

здесь царило оживление, с утра до позднего вечера работали сотрудники и прикомандированные к академии врачи. За пять лет, что провел тут И. П. Павлов, в лаборатории было выполнено под его руководством свыше двадцати научных работ и свыше восьмидесяти диссертантов с других кафедр стали докторами медицины с благословения и при поддержке Ивана Петровича.

Сам Иван Петрович за это короткое время заново исследовал всю пищеварительную систему: и желудок, и кишечник, и слюнные железы, и поджелудочную железу, и печень. Благодаря такой поистине титанической работе были открыты закономерности работы каждого органа и всей системы в целом.

Главный вывод, к которому пришел И. П. Павлов: все находится в ведении нервной системы. Именно она управляет работой как основного кухмистра — желудка, так и вырабатывающих "приправы", без которых ничего не удастся "сварить", — запятанных в его стенках или под тлим крохотных желез.

Но многие признанные авторитетные ученые считали, что "нервы тут ни при чем", все прекрасно обходится и без них — одной химией. И главным противником И. П. Павлова оставался все тот же профессор Р. Гейденгайн. Вынужденный было отступить под натиском фактов, полученных по павловскому способу мнимого кормления, европейский ученый теперь снова пытался доказать свое.

"Мнимое кормление есть все-таки мнимое, не настоящее, — говорили противники И. П. Павлова. — Надо добиться тех же результатов при истинном кормлении". В лаборатории профессора Р. Гейденгайна из желудка собаки выкроили изолированный "мешочек" — маленький желудочек, который был полностью отделен от основного. Пища в него не попадала, а все процессы шли как в большом, когда там переваривалась еда. Искусственно отделенный малый желудочек, "подобно зеркалу, лучше отражает нормальную работу нашей внутренней кухни", говорил Р. Гейденгайн.

Иван Петрович Павлов тщательно повторил у себя в лаборатории опыт Р. Гейденгайна. И выяснил, что сок из малого желудочка все-таки отличался по составу от взятого во время "варки" из основного "котла". И. П. Павлову ясно, что при перекрое прерваны нервные связи. И теперь маленький желудочек оказался в полной изоляции — никакие приказы из нервной системы к нему не доходят. Потому он и выделяет не тот сок, который нужен для пищи, перерабатываемой в основном желудке, а какой придется. "Зеркало-то оказалось кривым", — подсмеивался Иван Петрович. И он решил доказать Р.

Гейденгайну свою правоту его же методом, чтобы нельзя было опровергнуть полученный результат.

Надо было так выкроить маленький желудочек, чтобы сохранились нервные связи.

Долго ничего не получалось. Работа продолжалась уже почти полгода, было прооперировано около тридцати собак, сомневаться в удачном исходе начали даже свои сотрудники. Стояли на своем только И. П. Павлов и его помощник Павел Павлович Хижин, который работал непосредственно с подопытными животными.

Наступил день, когда операция наконец удалась ("Кто прям, тот упрям"). Чуть не двести швов пришлось наложить, но зато вот он, маленький желудочек, выкроенный по его, Павлова, методу. И желудочный сок, что в большом, что в малом, искусственно созданном отделе желудка, теперь одинаков. "Зеркало" показывает реальную картину: стоит перерезать нервы — и оба желудка не знают, какой сок им следует выделять.

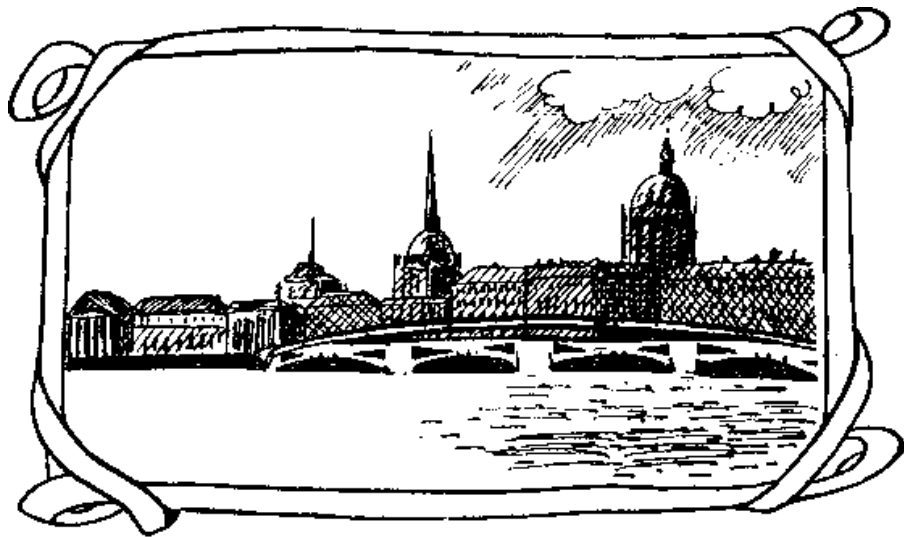
Пес Дружок стал наглядным доказательством правоты идей И. П. Павлова. Он прославился на весь мир. А его хозяин ничуть не возгордился, лишь пробурчал про отговаривавших его от опыта коллег: "Копаются в мертвечине, ничего в живом не смыслят..."

Это был триумф, настоящая научная победа — первый большой успех, за которым последовала целая серия блестящих экспериментов. И. П. Павлова уговорили выступить с циклом лекций о новых открытиях в пищеварении.

Лекции произвели на врачей и физиологов колоссальное впечатление. Их тут же издали на средства академии. Буквально через год они появились на немецком языке, в последующие два года были изданы во французском и английском переводах.

"Со времен Гейденгайна не было еще случая, чтобы один исследователь в течение нескольких лет сделал в физиологии столько открытий, сколько описано в книге Павлова", — с восхищением признался один из его зарубежных коллег.

И. П. Павлов стал самым известным физиологом. Ведь прежнее зеркало-то оказалось кривым.



"АЙ ДА ЗАЦЕПИЛИ, ВОТ ТАК ЗАЦЕПИЛИ..."

Серафима Васильевна писала: "Этот период был самым счастливым в нашей жизни".

Когда кто-то из русских ученых выезжал за границу, его первым делом спрашивали: "Вы видели, знаете вашего замечательного ученого Павлова?" Теперь иностранцы ездили учиться в павловскую лабораторию.

В 1901 году в Петербурге побывал профессор физиологии Гельсингфорсского университета Р. Тигерштедт. Посетил и новоявленную российскую знаменитость. То, что он здесь увидел, подтвердило его заочные представления о выдающихся павловских экспериментах по физиологии питания, о чем он, вернувшись на родину, самолично известил Ивана Петровича письмом.

Профессор Р. Тигерштедт был членом Нобелевского комитета, но это был частный, ознакомительный визит. Весной 1904 года он прибыл в Петербург вместе с другим членом комитета, И. Иогансоном, уже с официальными полномочиями. Несколько дней подряд им подробно наказывали все павловское хозяйство: и знаменитое мнимое кормление, и наблюдательное "окошко" в желудке, и, конечно же, "маленький желудочек". Для наглядности многие операции производились прямо в присутствии высоких гостей. Оперировал сам Иван Петрович. И хотя не обошлось без спешки и волнения, мастерство И. П.

Павлова поразило зарубежных ученых. Они уехали в твердой уверенности, что их русский коллега вполне достоин награды.

В октябре того же года Ивана Петровича уведомили, что он признан лауреатом и его приглашают в Стокгольм для вручения Нобелевской премии. В декабре 1904 года состоялось торжественное вручение золотой медали, диплома и денежного чека на семьдесят пять тысяч рублей.

Вручал И. П. Павлову эту высокую награду сам король Швеции и, дабы уважить прибывшего из России ученого, произнес на русском языке специально выученное приветствие: "Как Ваше здоровье, Иван Петрович?"

Здоровье у пятидесятилетнего Павлова было отличным. По-прежнему он был крепок, подвижен и производил впечатление отнюдь не пожилого человека, разве чуть начали сесть его каштановые волосы.

Павловы переехали в новую квартиру в бельэтаже дома на углу Введенской и Большой Пушкарской улиц. Окна гостиной, столовой, детской и спальни выходили на просторную Введенскую площадь — Иван Петрович любил, когда в комнатах много солнца и света. Его кабинет, так же как и комната старшего сына, кухня и прочие подсобные помещения смотрели окнами в тихий двор.

Семейным центром была большая гостиная. А в ней главная достопримечательность — резной книжный шкаф черного дуба с любимыми (научных изданий тут не держали — они хранились в кабинете) книгами. Здесь сверкал золотыми обрезами "Брокгауз и Ефрон", на почетном месте виднелись "Астрономические вечера" и "Атлас звездного неба". Это все предназначалось для детей. Иван Петрович был большой знаток астрономии и к любимому занятию этому приобщил своих детей.

Беллетристика почти вся была куплена в дар: лучшим подарком ко дню рождений в семье Павловых считалась книга. Ее потом тщательно "одевали" в сафьяновый с тиснением или гладкий кожаный переплет, старательно подобранный самолично хозяином дома.

В гостиной Иван Петрович иногда правил рукописи (письменным столом он вообще редко пользовался).

После обеда он любил отдыхать здесь на диване, поглядывая на висевшую над ним картину художника Н. Н. Дубовского — давнего приятеля Павловых. На ней изображен был уголок курортного местечка Силломяги, куда каждое лето выезжал Иван Петрович с семьей на дачу. Вечерний пейзаж — с заходящим в море солнцем, догорающим костром на берегу — постоянно напоминал И. П. Павлову его любимое место отдыха. Он сделался

теперь истинным петербуржцем, был влюблен в его камень и дворцы, в зеленые пригороды с великолепными фонтанами и холодное северное море. На другой стене висел портрет старшего сына в пятилетнем возрасте кисти знаменитого художника Н. А. Ярошенко.

На рождество посреди гостиной ставили высоченную, до потолка, елку и устраивали обязательный "елочный прием" для детей. Здесь же стоял подаренный племянникам дядей Митей рояль. У Павловых было четверо детей, а так и не женившийся Дмитрий обычно проводил в семье старшего брата и зимние и летние каникулы. Никто не мог придумать игры смешнее, прозвища остроумней, шутки веселее, чем он. Что же касается науки, тут дела обстояли не так весело. Легкая дорога, которую он выбрал в юности, не привела к таким высотам, на какие поднялся старший брат. Он был рядовым химиком, ничего нового в науке не совершил.

Иван Павлов стал четвертым нобелевским лауреатом. До этого высокой награды удостаивались исключительно врачи, согласно завещанию шведского промышленника и изобретателя Альфреда Нобеля, "принесшие наибольшую пользу человечеству". Один из них создал противодифтеритную сыворотку, другой — установил причину малярии, третий — разработал метод лечения туберкулеза кожи.

Иван Петрович Павлов не совершил чисто медицинского открытия, его работы были скорее теоретическими. Но так кардинально они меняли представления ученых и врачей, были столь фундаментальными, что награда была вполне заслуженной. Он был ее удостоен "в знак признания его работ по физиологии пищеварения, — как записано в дипломе, — каковыми работами он в существенных частях пересоздал и расширил сведения в этой области".

Еще только прошел слух о возможном награждении, а Академия наук России уже избрала И. П. Павлова членом-корреспондентом, Парижская медицинская академия — своим иностранным членом. К моменту вручения награды Иван Петрович состоял в тридцати с лишним научных обществах, университетах, академиях. Один из первых его университетских преподавателей, Илья Фаддеевич Цион, живший в то время за границей, прислал ему свое поздравление и приветствие ("Учитель доволен своим учеником, радуется за него: это ли не торжество"). Сам И. М. Сеченов поздравил Ивана Петровича с "блистательным завершением... плодотворной 25-летней деятельности, придавшей яркий блеск русскому имени".

Казалось, ученый достиг вершины. С нее открывались

неоглядные дали — углубляй, исследуй подробнее физиологическую проблему, которую так успешно разрабатывал до сих пор. Но Иван Петрович принадлежал к тем людям, для которых вершина всегда впереди. И он оставляет принесшую ему всемирный успех область науки и берется за совершенно новое дело.

Неожиданно для всех он делает крутой поворот от пищеварения к психике. Мало того что здесь надо все начинать сначала. Большинство физиологов считало, что это вообще не их область исследования. Сознанием, мышлением занимаются психологи — им и карты в руки. Да и не поздно ли в пятьдесят с лишним лет браться за новую проблему?

Но профессор неумолим. Сотрудникам запрещено даже говорить о пищеварении.

— Долой физиологию пищеварения. — заявляет он своим ученикам и помощникам. — Я вас всех переключу на исследование нервной системы.

— Да ведь здесь работы лет на сто хватит, — смеялся он в лицо скептикам. — Нет, нет, с пищеварением покопчено. Я весь уйду в ту область.

И действительно, все силы были брошены на решение вопросов, к которым неизвестно как и подступиться. Друзья советовали образумиться, многие сотрудники открыто высказывали свое недовольство, некоторые даже ушли из лаборатории, дома и то недоумевали: зачем ему вдруг понадобилось лезть в собачью душу?

Но решение заняться изучением психических явлений пришло совсем не вдруг. Он давно уже присматривается к лабораторным собакам. Когда им кладут еду в рот, естественно, что начинает выделяться необходимая для переваривания пищи слюна. А если служитель только гремит миской за дверью, а у собак уже текут слюнки — заранее, лишь в предвкушении еды? Почему бы это? Или собака просто смотрит на мясо в кормушке, еще не ест его, а слюнные железы уже начали работать. Отчего?

Иван Петрович назвал такое слюноотделение "психическим". Оно очень мешало ему изучать физиологию пищеварения в чистом виде, усложняло картину.

Теперь он обратил внимание как раз на него. Почему оно возникает? Получается, что желудок собаки может на расстоянии узнавать, вкусная ли еда в кормушке и сколько слюны надо вырабатывать. Как же это происходит?

Пища "действует" на этот раз не на рот, а на глаза, нос, уши. Откуда же берется слюна? Ведь слюнная железа, по словам Павлова, "не состоит ни в каких деловых отношениях ни к

звуковым, ни к световым, ни к обонятельным свойствам предметов". Сухость, горечь, кислота, действующие прямо на язык, — вот естественные, "свои" возбудители слюнного центра в мозгу.

Но свет и звук? Хорошо известно, что эти раздражения адресованы совсем в другие — зрительной и слуховой — отделы мозга.

Что же нужно, чтобы свет или звук начали выполнять чужое дело — гнать слюну? Оказывается, совсем немного: чтобы слуховые или зрительные впечатления хоть раз совпали с возбуждением слюнного центра от пищи или несъедобных веществ, попавших в рот. Тогда в мозгу животного прокладывается цепочка от зрительного или слухового центра к слюнному. Она зависит от конкретных условий опыта — будет ли это звонок, совпавший с кормлением, или зажженная перед дачей пищи лампочка.

Похоже, очень похоже на обычные рефлексy: раздражение извне — ответ изнутри организма. Только не такие жесткие, однозначные связи, как при непосредственной пробе пищи. Все более подвижно, зависит каждый раз от разных условий. Профессор Павлов так и назвал вновь открытые им рефлексy в отличие от простых, "сеченовских", условными.

Так всплыло это магическое слово, заворожившее Ивана Петровича еще с семинарских времен, впервые доказавшее ему, что духовный мир подвластен научному изучению, а не "божественному промыслу". С именем И. М. Сеченова, автора рефлексов, он устремился в Петербург, но затем словно забыл о пресловутых рефлексax.

Впрочем, мог ли он, специально тренировавший свою память, помнивший протоколы многочисленных опытов, клички всех лабораторных собак, страницы заинтересовавших его книг, забыть о столь существенном в его жизни? Конечно, нет.

Иван Петрович Павлов ничего не забыл. Его цепкая память не упускала даже деталей. Он просто складывал многое в кладовую своей памяти про запас. Была у него такая удивительная особенность. Один из его учеников, академик Леон Абгарович Орбели, называл это свойство "отложенными идеями".

По его словам, для учителя "было характерно умение держать... где-то в подсознательной сфере все то, что было продумано и пережито раньше, с тем чтобы по прошествии известного времени воскресить ту или иную проблему и вновь пустить ее в переработку... Не было буквально вопроса, который был бы им похоронен окончательно. Если были "похороны", то временные, это было упрятывание в склад материала, который в

данный момент должен быть спрятан, чтобы в новой форме в будущем воскреснуть и претвориться в дело".

Отложенные на время занятий чисто физиологическими проблемами, сеченовские рефлексy всплыли как раз в момент раздумий о психическом слюноотделении, когда И. П. Павловым был сделан шаг в сторону психологии. Но если вдуматься, даже самые первые его студенческие работы и те уже не были только физиологическими. "Нервизм", по словам С. П. Боткина, пронизывал все павловские работы.

Иван Михайлович Сеченов создал только теорию рефлексов. Он подсказал, что работа нервной системы должна строиться именно по такому принципу: сигнал — ответ, внешнее раздражение — его отражение в организме. Это был, по словам И. П. Павлова, "взмах мысли" — гениальная, но гипотетическая догадка, которая требовала доказательства и экспериментальной проверки. Именно этим занялся Иван Петрович.

Его условные рефлексy — это "ум, рассмотренный снаружи", как назвал их кто-то из физиологов. Внутри нас — чувства, мысли, желания. Они скрыты от глаз и проявляются снаружи в виде условных рефлексов — этого своеобразного "окошка" во внутренний мир. Благодаря им мы изучаем теперь мозг — это вместительное эфемерной души — так, как изучали бы любой другой орган нашего тела.

Мир узнал его как автора физиологии пищеварения.

А он уже ушел вперед, вышел на магистральную дорогу, думал о том, как строится работа не отдельных органов, а всей нервной системы. И еще за год до присуждения ему Нобелевской премии Иван Петрович Павлов на Международном физиологическом конгрессе в Мадриде впервые произносит вслух эти ставшие потом синонимом его деятельности слова — "условные рефлексy". Он говорит о новых проблемах, о новых способах изучения мозга, но его коллеги еще не подготовлены к восприятию таких новшеств. Ученые просто не услышали, о чем говорил им с трибуны конгресса русский физиолог. Они еще были полны его идеями о пищеварении и готовились воздать ему должное за эти работы.

Принимая высокую награду, Иван Петрович в ответном слове снова говорит об этом. "В сущности, нас интересует в жизни только одно: наше психическое состояние. Его механизм, однако, был и сейчас еще окутан для нас глубоким мраком. Все ресурсы человека: искусство, религия, литература, философия и исторические науки — все это объединялось, чтоб пролить свет в эту тьму. Но в распоряжении человека есть еще один могучий ресурс — естествознание с его строго объективными методами".

Он доволен: ему удалось-таки найти такой метод.

— Ай да зацепили, вот это так зацепили! — радостно восклицает он.

Но он слишком быстро шел вперед. Сорок минут длилось его выступление в Мадриде. И свыше тридцати лет понадобилось, чтобы развернуть все тезисы этого доклада, обосновать, доказать их истину и заставить других поверить в его детище — условные рефлексy.

"НАДО ПОСОВЕТОВАТЬСЯ С НАШИМИ СОБАЧКАМИ"

В том же, 1903 году, когда Иван Петрович впервые объявил с трибуны Мадридского международного конгресса об открытых им условных рефлексax и когда уже вплотную шли разговоры о Нобелевской премии, реакционная газета "Новое время" начала самую настоящую травлю известного ученого.

Из номера в номер здесь стали печатать злобные статейки с нападками на И. П. Павлова за его безжалостное отношение к собакам. Он их, видите ли, в угоду своей науке режет почем зря и вообще подвергает бедных животных немислмым мучениям.

Иван Петрович только отмахивался от этих "укусов". Однако дело не ограничилось лишь газетными писаниями. Как-то к нему в лабораторию прибыла баронесса Мейендорф — фрейлина императрицы и председательница Российского общества покровительства животных, дабы лично ознакомиться с условиями, в которых содержатся подопытные собаки, и удостовериться, что их здесь не мучают.

С неохотой оторвался ученый от дел и вышел к закутанной в меха придворной даме, которую к тому же венчала какая-то немислмая шляпа, по моде того времени украшенная чуть ли не птичьим гнездом. Во всяком случае, какие-то пестрые крылья в натуральную величину распростерлись над головой сиятельной особы.

Она, в свою очередь, с недоумением разглядывала в лорнет знаменитого физиолога. Вместо положенного ему по чину генеральского мундира — рубаха-косоворотка, подпоясанная ремешком, брюки явно широки в поясе — он их то и дело поддерживает. И вообще никакой солидности — говорит быстро, отрывисто, руками размахивает, когда переспрашивает — ладонь приставляет к уху. Слова какие-то вульгарные употребляет: рассказывая про собак, все время говорит "брюхо", а не живот;

обращаясь к замешкавшемуся ассистенту: "Чего ждешь — пушай метроном". И все это в императорской академии!

Баронесса была шокирована. Может, ее, придворную даму, приближенную царицы, нарочно так неучтиво встречают? Где же ей было знать, что генеральский мундир профессор И. П. Павлов, несмотря на строжайшее распоряжение, категорически отказывается носить. Он постоянно висит у него в кабинете в шкафу и вынимается оттуда только для чтения лекций. А носит профессор либо вот ту самую косоворотку, в которой она его застала, либо простую рубаху с неизменным галстуком-бабочкой и поверх нее пиджак.

И без пиджака, с засученными рукавами, открывающими сильные жилистые руки, его тоже нередко можно видеть — не только в лаборатории, но, случается, и во дворе, где он частенько "режется" в городки со своими сотрудниками. Заметьте: не в гольф, не в теннис, а в грубые мужицкие городки, в которые, кроме рязанских грузчиков, никто и не играет. Во всяком случае, это плохой тон, так не принято.

Баронесса Мейендорф и представить не могла, что профессор И. П. Павлов очень часто делает не то, что принято. Разве солидно известному ученому ездить на работу на велосипеде? А Иван Петрович предпочитал этот транспорт всем остальным: надвинет свою пеструю кепку и едет через весь город, не обращая внимания на любопытные взгляды. И в речь свою простецкие словечки вставляет не специально, просто ему так удобнее говорить, вот он и не стесняет себя рамками хоть придворного, хоть какого еще этикета. И вообще церемоний разных не признает. Когда к нему обращаются: "Ваше превосходительство", — шибко сердится и тут же поправляет: "Я — Иван Петрович или профессор, а это — собачья кличка".

Вот о собаках он может говорить сколько угодно:

— Поймали мы это все у наших собачек, — бывало, скажет, когда что-то новое обнаружит.

А если дело не ладится, задумается:

— Надо будет поискать у наших собак.

И готов рассказывать про опыты с собаками любому желающему слушать: будь то коллега, посторонний человек или просто ученик какой любознательный. Правда, если уж очень не вовремя посетитель пожалует, Иван Петрович может и не сдержаться:

— Чертовы экскурсанты! От дела отрывают.

Но это уж если очень под горячую руку ему кто попадется. А так у него ни от кого секретов нет — было бы желание слушать. Вот и баронессе он подробнейшим образом задачи свои научные

излагает, хоть и видит, что вряд ли придворная дама все в толк взять может.

Она головой кивает, птички крылья на ее шляпе подрагивают, лорнет же на "милых собачек" нацелен: что это они, бедные, все в бинтах — их что же, все-таки режут ножом? Даже специальная операционная для собак есть? Какой ужас! Значит, вы всерьез вивисекцией занимаетесь...

Председательница Российского общества покровительства животных отбыла восвояси весьма недовольная. И вскоре обратилась к военному министру с письмом, которое так и называлось: "О вивисекции, как возмутительном и бесполезном злоупотреблении во имя науки".

"...Опыты над животными ничего не дали и дать не могут в науке и жизни, — говорилось в нем, — опыты над животными ведут к заблуждению. Другими словами: они не только бесполезны, но и вредны для развития науки — причиняя животным большие страдания. На этом основании нельзя не прийти к выводу, что производство опытов над животными необходимо ограничить до крайнего минимума и притом поставить под строгий контроль членов Общества покровительства животных".

Военный министр, получив письмо, немедленно начертал свою резолюцию:

"Предложить Военно-медицинской академии (так именовалась теперь Медико-хирургическая академия) дать заключение конференции".

Конференция академии вынуждена была назначить компетентную комиссию, в которую вошел и профессор И. П. Павлов. Ответный доклад комиссии носит явные признаки горячего павловского темперамента. В нем неприкрыто сквозит возмущение ханжеством и невежеством воинствующих обывателей, осмеливающихся посягать на достоинство ученого и мешать развитию науки.

"Нужно не иметь ни капли совести, — сказано там, — чтобы, одеваясь в меха и перья, ежедневно поедая всевозможных животных и птиц, разъезжая на холощенных лошадях, участвуя в охотах, словом, принося страдания и гибель тысячам живых существ для удовлетворения своих прихотей, в то же время упрекать ученых в страданиях, которые они причиняют животным во имя науки.

Нет, господа! Ищите других случаев для проявления своей нежности к животным и не смейте развязно решать вопросы, касающиеся всего человечества и всех его грядущих поколений. Можно дойти до такого унижения науки, чтобы запретить ученым

опыты над животными и тем самым остановить рост наших знаний о жизни здорового и больного организма. Но никакими запрещениями невозможно уничтожить в человеке жажду познания жизни и страстного желания облегчить мучения больного!"

Но и этого Ивану Петровичу показалось мало. И он к утвержденному конференцией академии докладу комиссии приписал свое особое мнение.

Он умел в нужных случаях, не вступая в долгие разговоры, оставаться при особом мнении. Так было, когда он выступил против нового полувоенного устава академии, по которому права студентов резко ограничивались и они приравнивались к юнкерам. Столь же нелепым казалось Ивану Петровичу введенное в практику назначение профессоров, а не выборы их.

И. П. Павлов один из всех преподавателей академии присоединился к прогрессивным деятелям высшего образования в России и подписал протест, в котором ученые отказывались читать лекции, пока не прекратится полицейский надзор за высшей школой.

И начальство академии в ответ как могло портило жизнь профессору И. П. Павлову: то не выделяя полагавшейся ему казенной квартиры, то не утверждая работы его учеников. Но это не действовало на Ивана Петровича расхолаживающе. Вот и теперь он не постеснялся назвать все своими именами:

"Когда я приступаю к опыту, связанному в конце с гибелью животного, я испытываю тяжелое чувство сожаления, что прерываю ликующую жизнь, что являюсь палачом живого существа. Когда я режу, разрушаю живое животное, я слышу в себе едкий упрек, что грубой рукой ломаю невыразимо художественный механизм. Но это переношу в интересах истины, для пользы людям. А меня, мою вивисекционную деятельность предлагают поставить под чей-то постоянный контроль. Вместе с тем истребление, конечно, мучение животных только ради удовольствия и удовлетворения множества пустых прихотей остаются без должного внимания.

Тогда в негодовании и с глубоким убеждением я говорю себе и позволяю сказать другим: нет, это — не высокое и благородное чувство жалости к страданиям всего живого и чувствующего; это — одно из плохо замаскированных проявлений вечной вражды в борьбе невежества против науки, тьмы против света".

Прочтя эти строки, его сотрудница Мария Капитоновна Петрова, много лет проработавшая с Иваном Петровичем, сказала:

"Он представляется мне человеком высшего порядка,

непохожим на остальных. Каким чувством собственного достоинства и какими высокими, благородными чувствами вообще должен обладать автор этих строк!"

У Марии Капитоновны хранился особый альбом, в котором Иван Петрович Павлов писал письма... лабораторным собакам, подбадривая, хваля, благодаря.

"Джон! Не осрамись, голубчик, — говорилось в них, к примеру, — дальше веди себя как раньше. За прошлое благодарим.

И. Павлов".

Или: "Есть у тебя, сонюля, соплюк, заслуги — старайся и дальше".

А то и коротко: "Надеемся, Мампус".

В случае удачного опыта он нередко обращался с похвалой к собаке. (Даже благодарность сотрудникам нередко облакалась в такую форму: "Ваш пес сегодня хорошо работает".) Ему доставляло огромное удовольствие общаться с лабораторными животными. Вообще из всех используемых в экспериментах животных любил именно собак. Если случалось работать с лягушкой, часто оговаривался и называл ее "собакой" (хотя нарисовать собаку, даже просто ее силуэт, никогда не мог).

Один из зарубежных ученых, побывав в павловской лаборатории, с восторгом отмечал:

"Собаки, использованные в ложном кормлении, были в прекрасном состоянии, как и все собаки, которых я видел в лаборатории. Казалось, что они принимают участие в различных экспериментах с охотой и радостью. Очевидно, они любили своих сторожей и профессоров, использовавших их в эксперименте и обращавшихся с ними неизменно с величайшей ласковостью. Особенно любили они профессора Павлова и выражали большую радость и удовольствие, как только его замечали".

По инициативе Ивана Петровича был поставлен перед зданием института памятник Собаке — дань уважения верному другу, помощнику и полноправному соратнику по работе.

На одном из барельефов у подножия собственноручно составленная надпись: "Пусть собака, помощник и друг человека с доисторических времен, приносится в жертву науке, но наше достоинство обязывает нас, чтобы это происходило непременно и всегда без ненужного мучительства.

И. П. Павлов".

А когда после смерти Ивана Петровича в научном городке, в который перерос созданный им институт, поставили памятник самому академику И. П. Павлову, они остались неразлучны и здесь: Великий Ученый и честно служившая его делу Собака.

С другой сиятельной особой — принцем А. П. Ольденбургским Ивану Петровичу Павлову в те годы приходилось встречаться чаще. Командир гвардейского корпуса, принц не ограничивался только военной службой. Он был известным меценатом, занимавшимся, как и его отец генерал-лейтенант, благотворительными делами. На собственные средства он создал в Петербурге детскую больницу, больницу для душевнобольных, организовал курорт в Гаграх, состоял попечителем Общины сестер милосердия. За что семейство Ольденбургских считалось при дворе несколько "анормальным". Тем не менее это не мешало им и дальше по мере сил развивать здравоохранение.

Санитарное состояние Петербурга было в то время неудовлетворительным. Инфекционные болезни были едва ли не главным врагом, уносившим многие жизни. Нередко вспыхивали эпидемии дизентерии, брюшного тифа, холеры, дифтерита. Естественно, это вызывало беспокойство просвещенных людей, требовалось принимать кардинальные меры. А в Петербурге, по существу, не было медицинского учреждения, занимавшегося этими проблемами. Даже в случае бешенства от укуса больной собаки пострадавших приходилось отправлять иногда в Париж, к самому Пастеру на его прививочную станцию.

Как армейский офицер, принц хорошо знал, какой ущерб наносят инфекционные болезни не только горожанам, но и военным. Он начал с того, что организовал в Петербурге прививочную станцию. Два кролика, зараженных вирусом бешенства для получения из их крови лечебной вакцины, были присланы из пастеровской лаборатории — принц знал Пастера лично, не раз посещал его лаборатории и не преминул воспользоваться этим знакомством. Приглашенные А. П. Ольденбургским врачи начали делать прививки против бешенства прямо здесь, на месте событий, ежели таковые случались.

Принц решил расширить эти работы. Он обратился к царю — вся наука, равно как и медицина, была в России "императорской", хотя финансировалась в основном частными лицами, — с просьбой разрешить при Троицкой общине сестер милосердия учредить научное медицинское заведение, подобное институту Пастера в Париже. Он вызывался самолично "снабдить учреждаемые лаборатории такой обстановкой и средствами, которые давали бы возможность производить экспериментально-медицинские исследования в условиях, отвечающих всем требованиям новейшей науки".

Принц отвел под будущий институт свою дачу, которая помещалась на Аптекарском острове. Соседнюю дачу, принадлежавшую петербургскому банкиру, он купил и тоже присоединил к институтским зданиям. Именно здесь разместились затем физиологические лаборатории, куда был приглашен работать И. П. Павлов.

В Институте экспериментальной медицины, как стал называться этот научный центр, Иван Петрович начал работать почти одновременно с получением кафедры и профессуры в Военно-медицинской академии. Принц был попечителем созданного института. Он утверждал сметы на расходы, определял направление научных работ. Иван Петрович Павлов принимал активное участие в работе совета института, в хозяйственных делах (и потому многое здесь было построено и сделано по его проекту) и даже выработке устава. За короткое время ИЭМ стал крупнейшим научно-исследовательским учреждением России. Иван Петрович работал в Институте экспериментальной медицины до конца своих дней. И именно перед его зданием стоит знаменитый памятник Собаке.

Лабораторным собакам здесь были созданы исключительные условия. Впервые в истории науки физиологическая лаборатория получила в свое распоряжение специальную операционную для животных, которая по уровню хирургической техники и стерильности не уступала лучшим операционным в клиниках для людей.

Операционное отделение занимало значительную часть лабораторных помещений и состояло из нескольких комнат. В первой размещалась "баня": здесь собак мыли и обсушивали на специальных платформах. В следующей комнате — подготовительной операционной — собак омывали антисептическими жидкостями и давали им наркоз. Третья комната служила для стерилизации инструментов и белья. Здесь же мыли руки и переодевались операторы. И наконец, собственно операционная комната, куда на руках переносят подготовленную собаку, причем это делают те, кто будет с ней работать. Служители дальше второй комнаты не допускаются.

За капитальной стеной находится несколько комнаток, где оперированные животные содержатся первые десять дней — до полного выздоровления. Каждая "палата" имела большое окно с форточкой, электрическое освещение и водяное отопление. От коридора они отделялись массивными дверями. Полы — цементные, со стоком. Вдоль стен проходят трубы с отверстиями, через которые подается вода. И можно мыть пол, даже не заходя в собачьи палаты. Все стены до самого потолка окрашены белой

масляной краской.

И такие условия защитница животных баронесса Мейендорф посчитала невыносимыми — ведь тут режут бедных собак! Воистину, когда наука "императорская", ее вершат люди без царя в голове.

Принц Ольденбургский, хоть и был движим благими намерениями, тоже смотрел на институт как на свою собственность. Ему хотелось, чтобы "его" институт был первым в мире. Этим в значительной степени объясняется его рвение при постройке зданий и организации работ. И когда в канун революционных событий 1905 года в газетах было напечатано заявление о необходимости изменения государственного строя, подписанное почти всеми сотрудниками ИЭМа (а тогда такие заявления писали работники самых разных учреждений), попечитель института чрезвычайно расстроился. Он явился в свою научную вотчину и заявил:

— Я устраивал институт не для политических целей, а для науки...

Но когда и кому из ученых удавалось заниматься чистой наукой? "Наука — служанка общества", — говорил Карл Маркс. И грядущий революционный переворот особенно четко проведет рубеж между теми людьми науки, кто за социальный прогресс, и ретроgrадами, предпочитающими тьму свету.

В ту пору как раз и усилился интерес ко всякого рода тайным, не объясненным наукой явлениям — телепатии, гипнотизму. Желających приобщиться к чудесам зазывали на сеансы гипнотизма лихими объявлениями: "Внушение мыслей. Превращение человека в собаку. Возвращение детства". Или еще того хлестче: "Сила индийских йогов. Исполнение желаний. Превращение вина в воду и воды в вино". Опять пошли бурные споры о загробной жизни. Петербургский свет увлекался спиритизмом.

Принц А. П. Ольденбургский тоже не устоял перед всеобщим поветрием. И дабы показать свою ученость, решил пригласить Ивана Петровича — как специалиста по вопросам души и нервной системы — на один из сеансов спиритизма к себе во дворец. Он явился в свой институт и стал уговаривать своего ученого непременно поехать с ним. Он уверял Ивана Петровича, что тот увидит столь необыкновенного спирита, что сразу все его недоверие к такого рода чудесам будет поколеблено.

И. П. Павлов долго отнекивался, говоря, что все это шарлатанство (он не раз повторял своим сотрудникам, что "этим вопросом" главным образом занимаются праздные и нервные люди). В конце концов Иван Петрович уступил просьбам

попечителя института и, как был, в рабочем пиджаке, отправился во дворец принца.

Ему представили необыкновенного спирита, который сразу стал величать его гением.

— Вот видите, — шепнул И. П. Павлову принц, — он сразу понял, кто вы.

— Ничего тут особенного нет, — отвечал тот, — кругом все в мундирах, орденах и лентах, я же в простом пиджаке, и вы оказываете мне внимание, значит, я что-нибудь представляю. Ничего особенного я тут не вижу. Приступим к спиритическому сеансу.

Пока готовились к "этой чепухе", И. П. Павлов выбрал в свите А. П. Ольденбургского молодого человека атлетического сложения, подошел к нему и попросил сесть по одну сторону спирита, а сам решил сесть по другую. При этом он объяснил молодому человеку, что он предполагает и за чем надо следить. Тот сразу все понял и охотно согласился.

Все уселись за круглый стол и погасили свет. Дальше события, по словам Ивана Петровича, развивались следующим образом:

— Я сразу ухватил под столом руку спирита и зажал ее что было силы. То же сделал мой сосед с другой стороны. Напрасно все ожидали чуда. Ничего не вышло. Но я почти выбился из сил, так он старался вырваться из моих рук. Наконец через полчаса он попросил дать свет, заявив, что на этот раз ничего не выйдет, потому что кто-то оказывает ему сильное духовное противодействие.

— Какое, батенька, духовное противодействие, — сказал я ему, — физическое — это так. Смотрите, вы у меня манжеты оторвали, так старались высвободить свои руки от меня. То же я вижу и у другого вашего соседа.

Больше принц А. П. Ольденбургский не звал Ивана Петровича к себе на спиритические сеансы. "Видимо, и у него страсть к ним сразу утихла", — смеялся И. П. Павлов.

Но не утихло стремление подменить исследование реального мира, естественнонаучных проблем изучением "загадочных" явлений человеческой психики, "непознаваемых" свойств окружающих предметов. Вновь стал обсуждаться вопрос о таинственной жизненной силе, будто бы присущей всему живому, хотя эта лженаучная проблема, казалось, была окончательно развенчана еще в студенческие годы Ивана Петровича.

Махровому расцвету таких идеалистических, псевдонаучных представлений способствовала обстановка в стране. Революционный порыв пресненских рабочих завершился

жесточайшими расправами. Тюремь были переполнены участниками восстания, которых царская охранка поспешила отправить подальше в Сибирь, на каторгу. Партия большевиков ушла в подполье.

Подспорьем царизму стала церковь, которая с особым усердием принялась уверять простой люд, что лучше им будет в царстве небесном. Нашлись писатели, которые принялись подпевать церковникам, проповедуя, что народу нужна новая религия. Богоискательством занялись и некоторые художники. На их полотнах стали появляться ангелы, пророки, сам господь бог. Они изображали картины страшного суда или райские кущи.

Но самое удивительное, что и часть ученых утратила веру в науку, подменив ее самыми нелепыми фантастическими бреднями. "Реального мира, действительности не существует, — уверяли они, — есть только наши ощущения, впечатления, "движения" души". Это, собственно, не было такой уж новинкой. Еще за два столетия до того, как новоявленные ученые проповедники провозгласили, что они изучают не окружающий нас мир, а мир, существующий лишь в их сознании, с аналогичным заявлением выступал английский епископ Беркли. Только теперь об этом говорил не церковник, а ученые: физики, химики, математики, называющие себя естествоиспытателями.

Надо было защищать науку от таких "ученых". И Иван Петрович Павлов со всей силой своего безудержного темперамента кинулся в бой за истинное, научное естествознание, за материализм. В декабре 1909 года в Москве, в Колонном зале Дворянского собрания, открылся XII съезд российских естествоиспытателей и врачей. Иван Петрович Павлов выступил на нем с докладом "Естествознание и мозг".

Ему исполнилось шестьдесят лет. Голова его стала белоснежной. Такой же сплошь седой была теперь и его борода. Серебро волос оттенялось молодым розовым лицом и по-прежнему голубыми, неизменно лучистыми, ясными глазами. Он совсем не выглядел стариком. Был бодр, подвижен. Говорил азартно, сопровождая свою речь характерным рубящим жестом плотно сжатой в кулак руки.

Иван Петрович страстно, горячо защищал науку от мракобесия. Этот доклад по праву считается одним из лучших выступлений великого физиолога.

Выслушав его, Климент Аркадьевич Тимирязев сказал:

"Я радуюсь и за себя, как натуралист, и за свою науку — физиологию растений. Много лет приходилось мне воевать с ботаниками, старыми и молодыми, русскими и немцами, задумавшими отказаться от "старых" правил естественного

научного мышления, заменяя их какою-то выдуманной "фитопсихологией". Услышав голос "великого физиолога земли русской", каким Вас признает весь свет, может быть, и они поумнеют. Ваша речь мне представляется историческим событием".

Зал собрания (теперешний Дом союзов на углу Пушкинской улицы и проспекта Маркса) во время выступления И. П. Павлова был переполнен до отказа. Образный рассказ о собственных опытах, иллюстрировавший выводы, произвел на слушателей глубокое впечатление.

Из всех блестящих павловских докладов это был наиболее замечательный по ясности, конкретности, совершенству и широте перспектив.

Иван Петрович чувствовал себя на трибуне совершенно свободно. В одно из первых своих выступлений за границей он начал речь не торопясь, размеренными фразами, давая возможность переводчику изложить его слова на английском языке. Потом увлекся предметом своего рассказа — ведь это были выстраданные проблемы, постоянно занимавшие его ум, — и начал говорить без пауз, позабыв, грешным делом, про переводчика. Но аудитория, замороженная его страстной речью, неожиданными жестами, пылающим взглядом удивительно молодых глаз, не перебивала оратора, не столько слушая, сколько наблюдая это темпераментное выступление.

Наконец Иван Петрович сам спохватился, что его не понимают. Растерянно обернулся к переводчику, потом чертыхнулся, с досадой грохнул кулаком по трибуне и раскатисто расхохотался, обезоруживающе подняв обе руки вверх. Зал ответил ему аплодисментами и дружескими улыбками. Вот тогда американец Дж. Б. Келлог и произнес крылатую фразу, что из И. П. Павлова — не доведись ему стать известным физиологом — вышел бы превосходный драматический актер.

Бурный темперамент И. П. Павлова прорывался, даже когда беседа велась за рабочим столом. Во время Международного физиологического конгресса в Бостоне Иван Петрович после официального доклада встретился с небольшой группой ученых в лаборатории известного американского физиолога У. Б. Кеннона. Он рассказывал о самых новейших своих наблюдениях и идеях, подавая их, по словам одного из участников встречи, "как бы с пылающей сковородки".

Он буквально не мог усидеть на месте: ерзал в кресле, двигал лежавшие перед ним на столе часы и все время готов был вскочить с места, чтобы "накинуться" на слушателей. А они сидели затаив дыхание, "тишина была такая, что можно было бы

услышать падение иголки".

Ему приходилось делать доклады на съездах, конференциях как у себя в стране, так и за рубежом. Его публичные выступления были так же яркие и блестящи, как и сугубо научные доклады. А лекции, которые он читал студентам, они ждали заранее. "Вот подождите, на втором курсе познакомитесь с профессором Павловым — узнаете настоящего ученого", — говорили им старшекурсники.

Иван Петрович Павлов читал лекции студентам на протяжении пятидесяти лет! Это была огромная отрасль его деятельности, в которой он проявил себя так же талантливо, как и в других своих деяниях. Приобщил его к чтению лекций еще Сергей Петрович Боткин, доверив молодому ассистенту не только лабораторную практику, но и теоретическое изложение части курса физиологии.

Став профессором, Иван Петрович Павлов уже был лектором со стажем. Он продолжал совершенствовать свое искусство.

Павловские лекции проходили весьма своеобразно. Ровно в девять с часами в руках в аудиторию стремительно входил Иван Петрович. Вмещала она человек 150, скамьи крутым амфитеатром поднимались вверх, так что с любого места все было отлично видно. Привычной кафедры не было. Вместо нее стоял большой шестиугольный стол, покрытый линолеумом, на нем выставлены всевозможные приборы и аппараты, необходимые для показа во время лекции. Над столом — большая люстра.

Иван Петрович усаживался в так называемое вольтеровское кресло с высокой плетеной спинкой, ассистенты выкатывали из соседней комнаты операционный стол на колесах, где в специальном станке была закреплена подопытная собака: с "маленьким желудочком", "окошком" в желудок — пробиркой, в которую капала слюна, или еще как-то подготовленная к наглядной демонстрации очередной главы физиологии.

Лекция начиналась. Собственно, это была скорее беседа. Лектора разрешалось перебивать, чтобы задать вопрос. Профессор тут же отвечал, разъясняя непонятное. И чем умнее и интереснее был вопрос, тем больше удовольствия он доставлял преподавателю.

Впрочем, беседой такую форму общения со студентами тоже не назовешь. Ведь сначала ассистенты демонстрировали опыт на собаке, чтобы учащиеся освоили факты ("упрямая вещь", по терминологии Ивана Петровича), и лишь после этого они получали соответствующее объяснение.

Собак для демонстрации готовили заранее. Работа эта начиналась рано утром, нередко еще затемно. И не дай бог, если

случалась какая-то неожиданная накладка и опыт не удавался. Профессор уходил с лекции туча тучей. Зачастую он сам помогал своим помощникам готовить очередной опыт для показа студентам. Вообще, если происходила хоть небольшая задержка, Иван Петрович очень сердился: "Ну что же не несут собаку?"

И. П. Павлов не любил теоретизировать. Он как бы рассказывал собеседникам о том, что тут же происходило перед глазами. "Считаю лучшим красноречием язык фактов", — любил он повторять.

Три раза в неделю в течение пятидесяти лет продолжались эти удивительные лекции. Огромный срок — целая жизнь! И за все это время профессор И. П. Павлов ни разу не опоздал, а пропустил только одну из них — по болезни. "Лекции для меня самого полезны, — говорил он, — оптимальное возбуждение. Без конца могу любоваться хорошими опытами".

Речь Ивана Петровича была удивительно простой, даже разговорной. Очень часто как бы самому себе он ставил вопрос и тотчас же отвечал на него. Говорил он понятно, специальных терминов не употреблял. Наоборот, мог сказать что-нибудь совсем обыденное, да еще рязанским простонародным говорком: "эк, набаковался парень", "какой пискучий голосок", "нынче у нас среда", "я очень рассерчал тогда".

Это не была игра в "свойского парня". Просто великий физиолог никогда не забывал, что родом-то он из города Рязани. И не только не желал скрывать сей примечательный факт, но и весьма гордился этим. Отсюда и обилие поговорок в его речи, народных словечек. Он и сам был горазд на всякого рода переиначивания слов на свой лад. "Образовался умственный затор", — говорил он. "Это все грубые сорта нервной деятельности", "сложилось рогатое положение для нервной системы". Страсть у него "отхлынивала". "Насматривайтесь!" — призывал он студентов. "Извольте это проделать своеручно и своеглазно, сударь мой", — выговаривал нерадивому сотруднику.

Немудрено, что такая колоритная форма изложения, простота и доходчивость рассказа, в то же время увлекательность, яркость, необычная наглядность, зримость всего услышанного придавали павловским лекциям особую популярность. Хотя посещение лекций в академии не было обязательным, студенты второго курса обычно приходили все до одного. Нередко здесь можно было встретить и старшекурсников, которые являлись сюда, как на любимый спектакль, который смотрят по несколько раз.

Так что аудитория всегда была забита слушателями до отказа. И даже когда в дни кончины и похорон Льва Толстого

студенты академии, поддерживая требование великого русского писателя отменить смертную казнь, объявили трехдневную забастовку и не явились на занятия, исключением стала только лекция Ивана Петровича Павлова. В его аудитории по-прежнему не было свободных мест.

Профессор И. П. Павлов, впрочем, на этот раз пренебрег очередной физиологической темой, а повел разговор о том, что лучшим уважением к памяти великого писателя служит упорная учеба, ибо именно она готовит для будущего служения народу.

Иван Петрович вообще был не прочь поговорить на свободную тему. По существовавшей в академии традиции каждый профессор вступительную лекцию посвящал не своему предмету, а общим жизненным вопросам — врачебной этике, клятве Гиппократ и т. п. Вступительная лекция профессора И. П. Павлова называлась "О рабстве и барстве" и пользовалась особой популярностью.

Обращаясь к студентам, Иван Петрович предостерегал их от барства в науке, он призывал их относиться к труду как к насущной жизненной потребности, а не тяжелой обузе, не бояться повседневной черновой работы. Ибо иначе наступит леность духа и рабство мысли, ненавистная ему "обломовщина". И. П. Павлов звал молодежь к активной жизни, к овладению теми богатствами знания, которые человечество накопило за свой долгий путь к вершинам цивилизации. И конечно же, напоследок Иван Петрович не мог удержаться, чтобы не посоветовать учиться мыслить конкретно, исходя из реальных фактов, а не из псевдоумных рассуждений: "Слова, батенька, словами и остаются — пустые звуки. Вы давайте факты, это будет материал ценный".

Не менее знаменита была и другая его вступительная лекция, которую он произнес, когда ему пожаловали, наконец, физиологическую кафедру.

Кафедра физиологии считалась в академии перворазрядной. Целое десятилетие ее возглавлял кумир Ивана Петровича — профессор Сеченов. И вот теперь он сам стал во главе ее.

"Выступая первый раз на этой кафедре, — сказал И. П. Павлов в своей "тронной" речи, — я живо чувствую всю трудность моего положения. Помимо первостепенной важности предмета, этой кафедре принадлежит особое историческое достоинство, в ней слиты традиции научные и учительские. В продолжение последних тридцати лет с нее учили Иван Михайлович Сеченов, Илья Фаддеевич Цион и Иван Романович Тарханов.

Первому поистине могло бы приличествовать название отца русской физиологии. До него профессор физиологии был только учителем, передатчиком результатов работы европейских

физиологов. Иван Михайлович Сеченов сделался прежде всего самым крупным деятелем науки... и таким образом впервые в лице русского профессора физиологии соединился ученый и преподаватель".

Было что-то глубоко символичное в том, что свою историческую фразу об отце русской физиологии Иван Петрович Павлов произнес с той самой кафедры, с которой "учительствовал" этот научный корифей. Эстафета знаний была передана в надежные руки.

Там же, во вступительной лекции, впервые прозвучала очень важная и совершенно новаторская тогда мысль о том, что живой организм — это своего рода машина.

"Под влиянием гениальных, высокоталантливых исследователей, — говорил Иван Петрович, — организм пополнился физико-химическими явлениями, можно выразиться даже, как бы превратился в машину. Тут оказались насосы, краны, трубы, мехи, камеры-обскуры и т. д."

Это был совершенно новый подход к "единице жизни" — организму. Он позволил потом Ивану Петровичу Павлову прийти к выводу о машинности мозга — задолго до кибернетического бума, когда вдруг стало очевидным, что наш мозг действительно что-то вроде вычислительной машины. Правда, вычислительных машин во времена Павлова еще не было, и он сравнивал мозг то с часами, то с телефонной станцией. Но суть дела от этого не меняется. Первенство самой идеи — за ним.

"...Вы решаетесь быть врачами, — говорил профессор студентам, — то есть механиками человеческого тела. Если человек заболел, иначе говоря, животная машина в каком-нибудь пункте потерпела порчу, то врач призывается, худо ли, хорошо, поправить ее... Вы должны представить себе, что медицина постоянно делается, развивается, и вы — масса врачей — не только пользуетесь готовой медициной, но и можете быть ее творцами... Коротко говоря, вопрос, уместный чести образующегося врача: считает ли он себя токарем или механиком человеческого тела?"

"КАЖДЫЙ ДАЕТ ОТ СЕБЯ НЕЧТО, А ВДЫХАЕТ ВСЕ"

В те дни, когда не было лекций, так же ровно в 9 часов, без опозданий, Иван Петрович появлялся в лаборатории. "Появлялся" — это, конечно, неверно сказано. Он стремительно вбегал (а

многие считали: буквально влетал). Вместе с ним вливалась какая-то живительная сила: вихревой поток слов и жестов, неукротимая энергия, жажда немедленной деятельности. И на таком тоне атмосфера в лаборатории держалась до конца рабочего дня, когда ровно в половине шестого Иван Петрович вытаскивал из кармана часы и, щелкнув крышкой, быстро взглядывал на стрелки: пора домой.

Домой он шел, как водится, пешком. И самой большой честью для его сотрудников было сопровождать профессора. По дороге обсуждались текущие дела, завязывались дискуссии, решались необходимые вопросы. Работа продолжалась.

Пообедав и отдохнув дома часа полтора, неутомимый профессор вновь отправлялся в лабораторию (благо их было две — в Военно-медицинской академии и в Институте экспериментальной медицины). И здесь оставался нередко до полуночи, так что ужинать приходилось уже одному. К его приходу был непременно нагрет самовар, выставлено на столе молоко и белый хлеб.

Праздничные дни отличались от будней только тем, что Иван Петрович работал до обеда. И так каждый день — никаких поблажек собственному самочувствию или настроению.

С такой же требовательностью, как к себе, относился Иван Петрович и к сотрудникам: никакой расхлябанности, незавершенной работы, прогулов, опозданий. Говорили же, что, застав как-то одного ассистента во время работы за игрой в бильярд и нескананно осерчав, профессор самолично гнался за ним с кием, чтобы проучить бездельника. Впрочем, бездельники здесь не удерживались. Оставались только люди, так же беззаветно преданные делу, как и сам Иван Петрович.

Попадали в павловские лаборатории самым разным путем. Кто-то "зашел посмотреть на настоящую науку" и остался насовсем. Кого-то прислал знакомый профессор из другого города, так как "если не поучиться поработать, то поклониться этому гениальному ученому — долг каждого физиолога".

— А! Вы от Василия Яковлевича? Ну, как там его печень? Хотите поработать? Проходите, поговорим.

Будущий известный ученый Петр Кузьмич Анохин познакомился с Иваном Петровичем студентом первого курса. Приехав в Петроград из Новочеркасска с "твердым намерением изучать мозг", он не представлял себе, где и как будет это делать. Но первая же лекция И. П. Павлова, на которую он попал, все решила для него.

Константин Михайлович Быков, окончив Казанский университет, был направлен в заграничную командировку "для

приготовления к профессорскому званию". В это время у букиниста совершенно случайно он купил книжку И. П. Павлова "Лекции о работе главных пищеварительных желез" и понял, что "у нас в России живет и работает необычайно оригинальный исследователь". Он написал Ивану Петровичу письмо с просьбой побывать у него, хотя бы во время летних каникул.

Буквально через неделю он получил ответ: "Я очень рад видеть Вас в моей лаборатории и предоставить Вам возможность в ней работать и все знать и видеть, что у нас делается". А ведь известный ученый ничего не знал о молодом, начинающем исследователе и фамилию его слышал впервые.

Так или иначе двери павловских лабораторий всегда были открыты для всех желающих. Робеющего новичка непременно проводили к самому профессору, и он — маститый ученый, нобелевский лауреат — каждого посетителя встречал с необыкновенным радушием и охотно беседовал с ним, подробно рассказывая, чем они здесь занимаются. И ежели было желание — каждому находилась работа.

Правда, вначале вновь прибывшему поручали самое несложное дело — так что многие даже недоумевали: где же тут "большая" наука? Не каждый догадывался, что проходит тем самым своеобразное испытание на устойчивость к черновой работе. И ему только кажется, что Иван Петрович про него забыл. На самом деле шло так называемое "присматривание". "Ходите, присматривайтесь", — говорил Иван Петрович. Но и сам он незаметно, но тщательно присматривался к новичку. Ежели ученик выдержит испытание успешно — получит доступ к настоящему делу.

Тот, кто оставался, постепенно приобщался к общим заботам. На окне лежала стопка папок — диссертации сотрудников лаборатории. Со временем тщательно переплетенные по годам тома занимали уже целый стол. И каждый мог подойти, перелистать их, прочесть. Иван Петрович в кабинете не засиживался: постоянно обходил всех сотрудников, подолгу наблюдал за опытами, просматривал тетрадку с протоколами исследований, расспрашивал, советовал, а то и вмешивался сам. Увидев, что сотрудники никак не могут закрепить собаку в специальном станке, ловко хватал ее и моментально проделывал все с завидным умением: "Ишь, срамники, вас тут пять человек, а не могут с одним псом управиться".

— Нуте-с, нуте-с, покажите-ка, что тут у вас? — скажет, бывало. И начнет тетрадку с протоколами опытов листать. И не дай бог, ежели спрашиваемый позабудет и назовет не те цифры, что там записаны, или — еще того хуже — отвлечется беседой и

капли слюны мимо пробирки попадут.

— Куда же это, к черту, годится! Где вы витаете? — тут же раздается рассерженный окрик профессора. — Вы явно не в силах справиться с этой работой! Ну, так бы и сказали!

В зависимости от степени виновности это могла быть просто "ворчба", "брюзжание", "малый" и "большой" гнев или "разнос", когда тетрадка с протоколами летела в сторону, голос обычно доброжелательного профессора на высоких нотах срывался на фальцет. Неистово потрясая кулаками, потемнев лицом, он уходил к себе в кабинет, громко хлопнув дверью.

Тогда в лаборатории все затихало. Сотрудники молча работали, не поднимая головы: ждали, когда гроза пройдет. Надо было только не перечить в этот момент, не накликать лишнего гнева. Рассказывают, что единственный, кто отваживался возражать И. П. Павлову, был его помощник Дмитрий Степанович Фурсиков, которого Иван Петрович весьма уважал и ценил. Что не помешало ему как-то после особенно жарких дебатов два года не разговаривать с молодым сотрудником.

Но зла Иван Петрович не держал даже и на провинившегося.

Как-то его помощник доктор Н. Я. Чистович, готовивший собаку для демонстрации, забыл в решающий момент снять зажим с вены. Иван Петрович, не терпевший никакого промедления и малейшей нерасторопности, чертыхнулся и сам дернул зажим. Но сгоряча порвал вену, хлынула кровь, опыт оказался испорчен.

Обрывая тесемки халата, И. П. Павлов разразился весьма язвительными замечаниями и принялся ожесточенно намыливать руки.

— Но, Иван Петрович, вы тоже виноваты, — осмелился возразить его помощник. — Если бы вы сняли зажим спокойно, ничего не было бы...

— Что-о? — закричал, оборачиваясь, И. П. Павлов. — Да я после всего этого нахожу, милостивый государь, ваше присутствие здесь лишеным всякого смысла!

— Я и сам думаю так же...

С этими словами доктор Н. Я. Чистович отправился домой, убежденный, что порога павловской лаборатории ему больше не переступить. Он стал составлять заявление об уходе, когда ему принесли записку: "Брань — делу не помеха. Приходите завтра ставить опыт". Гроза прошла — инцидент был исчерпан.

Надо сказать, что обид на профессора И. П. Павлова его сотрудники не таили и вспышки гнева охотно ему прощали, потому что знали: это от того, что он болеет за общее дело. А в том, что они действительно делают одно дело, ни у кого из

работающих в лаборатории не было сомнений.

Работа была организована так, что никаких секретов друг от друга здесь не водилось. Каждый знал, что именно делает сосед и насколько продвинулся вперед. Этому весьма способствовали так называемые "дружеские чаепития", которые происходили обычно по средам.

Чаем здесь действительно угощали, покупая нехитрую снедь в складчину, причем казначеем был сам Иван Петрович. Заваривали чай в стеклянной колбе, пили из высоких химических стаканов, размешивая стеклянными палочками из лабораторного оборудования. Но это был просто повод для создания непринужденной обстановки. Главное, конечно, были доверительные беседы, которые при этом велись.

Постепенно разговоры по средам стали доброй традицией. Они начинались ровно в десять — и, конечно же, ни секундой позже. В двенадцать часов, когда, отмечая полдень, палили пушки на Петропавловке, происходил непрременный ритуал проверки времени. Все разговоры на мгновение прекращались, Иван Петрович вынимал из жилетного кармана свои примечательные часы, откидывал их крышку и, убедившись, что они показывают время секунда в секунду ("Вот здорово — идут совершенно точно!"), продолжал беседу. Остальные старательно подводили стрелки.

Обычно на "средах" И. П. Павлов сообщал о том, что сделано за прошедшую неделю, у кого работа продвинулась, у кого образовался "мысленный затор". Тут он вопреки своему обыкновению охотно выслушивал возражения, даже вызывал сотрудников на спор. ("Споры — это великолепный катализатор мысли", — говорил он.) Рассказывал о прочитанном — новинках физиологической науки: отечественной и зарубежной.

Беседы проходили очень оживленно. Никакого чинопочитания не было: каждый мог высказать все, что вздумается, — лишь бы по существу обсуждаемого вопроса. Иван Петрович каждого сотрудника непременно спрашивал: "Что нового у вас?" И внимательно выслушивал, приговаривая: "Ну так, ну, ну..." А ежели был не согласен с сообщением, иронически произносил свое непередаваемое: "Те-те-те-те". Когда же не улавливал сразу, что хочет сказать сотрудник, прерывал того: "Постойте, погодите, как это, сейчас соображусь... А, ну да, ну понятно..."

Это была совершенно новая форма научной работы — коллективное думание. И введена она была Иваном Петровичем. Докладывая о ходе лабораторных работ, он никогда не говорил "я" сделал, "я" наблюдал, а всегда — "мы" сделали, "мы"

наблюдали. Это создавало тот неповторимый дух павловских лабораторий, ту творческую атмосферу, когда, по его собственному выражению, "каждый дает от себя нечто, а вдыхает ее всю".

Так складывалась павловская научная школа, которая вскоре стала самой многочисленной, оставив позади даже самую большую из известных европейских школ — школу Карла Людвига. Павловцы выполнили почти полтысячи работ, одних только диссертаций было написано ими около сотни.

Ученики находились под таким сильным влиянием своего учителя, что, как они сами признавались, невольно копировали павловскую манеру говорить, его интонации, даже жесты: как бы частица его самого входила в них. Но главное — они впитывали тот дух активности, творческого горения, который был присущ их учителю. И все это благодаря тому, что была изобретена такая необычная форма коллективного думания, в которой, как на дрожжах, мужали умы, вырастали таланты. Уникальные павловские "среды" были первой находкой такого рода. И знаменитый "детский сад папы Иоффе", как шутили называли своеобразную школу знаменитого ленинградского физика, и не менее известные "капичники" — творческие семинары московских физиков под руководством П. Л. Капицы — родились позднее. И. П. Павлов и тут был первооткрывателем.



Полвека он стоял во главе обширной научной школы! Многие его ученики провели с ним чуть ли не всю жизнь. Евгений Александрович Ганике — "добрый технический гений" лаборатории — проработал у И. П. Павлова сорок два года. Инженер по складу ума, он обеспечивал всю техническую сторону павловских экспериментов. Его называли "ближайшим и верным помощником Великого Ученого".

Были и такие ученики, которые ушли от Павлова. И причиной

тому была не ссора (хотя ершистый характер Ивана Петровича, казалось бы, мог стать причиной отчуждения), а идейное расхождение.

Вспоминая о таком случае с А. Ф. Самойловым, Иван Петрович писал: "Я очень рассчитывал долго пользоваться сотрудничеством Александра Филипповича, но он скоро, к моему сожалению, перебрался в Москву... главной причиной этого был склад его головы. Я был и остаюсь чистым физиологом, т. е. исследователем, изучающим функции отдельных органов... Александра Филипповича, очевидно, влекло к инструментальной, физической физиологии".

Большая группа его учеников — Эзрас Асратович Асратян, Леон Абгарович Орбели (которому Иван Петрович в конце жизни передал кафедру), Константин Михайлович Быков, Петр Кузьмич Анохин — со временем сами стали академиками, возглавили целые области физиологии, создали самостоятельные научные школы — непохожие на павловскую.

Каждый "отросток" этой удивительной школы не отрывался от родительского корня насовсем. Многие бывшие ученики — уже давно корифеи — приходили к И. П. Павлову за советом, поделиться успехами, неудачами, сомнениями. Нередко такие визиты приурочивались к "средам", и на них приезжали даже из других городов.

Могучий родительский корень питал эти плодоносящие ветви. Страстный садовод, И. П. Павлов не зря называл своих учеников "отсадками". Как только ученик созревал для самостоятельной работы, Иван Петрович, не задумываясь, производил такую отсадку. Он очень ценил самостоятельность в научной работе. Но только когда убеждался, что ученик готов для этого.

Любая работа сотрудников многократно проверялась и перепроверялась в лаборатории, прежде чем ее выпускали в свет (она непременно должна была "вылежаться", как говорил Иван Петрович). Поклонение "господину факту" столь свято соблюдалось, что практически в работах, выходявших из павловской лаборатории, за все годы не было ни одной ошибки.

И больше всех Иван Петрович требовал с себя самого. В течение двух десятилетий он не решался опубликовать в печати описание своих условных рефлексов, считая этот труд недостаточно зрелым. (Он говорил, что исследователю, кто бы он ни был, дано в жизни написать одну только книгу.) Свое исследование о высшей нервной деятельности он не зря назвал "плодом неусыпного двадцатилетнего думания".

Павловские условные рефлексy не всеми и далеко не сразу были признаны. "Какая это наука, — говорили одни, — ведь это всякий егерь давно знает, дрессируя собак!" — "Капли слюны у собак может считать даже дворник", — вторили им другие.

Особенно недовольны были психологи: Павлов вторгся в их субтильную епархию "весомо, грубо, зримо". Это шокировало многих. Один из таких заядлых противников обнаружился даже среди самих павловцев.

Когда начались детальные исследования "психических" условных рефлексов чисто физиологическими методами, в лаборатории запрещено было говорить "собака хочет", "собаке неприятно", "ей надоело", "она ждет" и т. д. Требовалось находить более точные понятия, объяснявшие, что именно происходит в этот момент в нервной системе животного. Каждый сотрудник, употребивший запретные слова для объяснения опытов, подвергался штрафу. Однажды, сам обмолвившись, Иван Петрович чертыхнулся, расхохотался и тут же выложил штраф.

Все инакомыслящие награждались презрительной кличкой "душисты" (от слова "душа") и подвергались язвительнейшему осмеянию. Антон Теофилович Снарский — ближайший сотрудник Ивана Петровича, несмотря на все запреты и насмешки, решительно отказывался перейти на новые рельсы.

— Как! Поддразнивать собаку издали кусками хлеба или мяса, греметь ее посудой, наблюдая, как бедняга от предвкушения еды начинает "пускать слюнки", и объяснять это, минуя душевные движения собаки? Да разве "пускание слюнок" здесь не стоит в прямой зависимости от психического мира, от всего того, что именно собака в это время переживает?!

— Вы заявляете, что ваша собака обиделась и потому, видите ли, ее слюнная железа бастует. А для меня все эти вопросы может разрешить только господин факт, — неумолимо стоял на своем Иван Петрович. — Вы же типичный словесник, сударь. Впрочем, извольте: готов испытать свои силы и в словесном турнире.

— Крупнейшие авторитеты физиологии не находят иного объяснения, — упорствовал А. Т. Снарский. — Да и вы сами еще недавно резко противопоставляли психическое слюноотделение (при одном виде пищи) рефлекторному, которое следует, если пища уже во рту. Я хоть сейчас могу процитировать...

— Не трудитесь, сударь! — вскипал И. П. Павлов. — Это слабейший из аргументов: вместо научного доказательства — ссылка на авторитеты, нас еще в семинарии сему обучали. Что вы

мне тут на Павлова ссылаетесь! Ваш Павлов ошибался, да и все тут!

Позднее Иван Петрович вспоминал: "Каково было мое изумление, когда этот верный друг лаборатории обнаружил истинное и глубокое негодование, впервые услышав о наших планах исследовать душевную деятельность собаки в той же лаборатории и теми же средствами, которыми мы пользовались до сих пор для решения различных физиологических вопросов. Никакие наши убеждения не действовали на него, он сулил и желал нам всяческих неудач! И, как можно было понять, все это потому, что в его глазах то высокое и своеобразное, что он полагал в духовном мире человека и высших животных, не только не могло быть плодотворно исследовано, а прямо как бы оскорблялось грубостью действий в наших физиологических лабораториях...

Нельзя закрывать глаза на то, что прикосновение истинного последовательного естествознания к последней грани жизни не обойдется без крупных недоразумений и противодействия со стороны тех, которые издавна и привычно эту область явлений природы обсуждали с другой точки зрения и только эту точку зрения признавали единственно законной в данном случае".

А. Т. Снарский так и остался при своем субъективном толковании внутреннего мира собак по аналогии с чисто человеческими мыслями, чувствами и желаниями. Он не устал рассуждать, какой умный, понятливый его подопытный пес Ворон, как он переживает все происходящее с ним. Иван Петрович, пораженный "фантастичностью и научной бесплодностью" такого отношения, сумел отойти от традиционного мнения о психических процессах как об особенных: "После настойчивого обдумывания, после нелегкой умственной борьбы, я решил, наконец, и перед так называемым психическим возбуждением остаться в роли чистого экспериментатора, имеющего дело исключительно с внешними явлениями и их отношениями".

Конфликт с А. Т. Снарским ускорил созревание павловских идей о рефлексах. И, расставшись с ним, Иван Петрович приступил к проверке своих идей с новым сотрудником — Иваном Филипповичем Толочиновым. Первое исследование по условным рефлексам было выполнено именно им.

Занятия "психологией", как тогда говорили, происходили во второй половине дня, когда приезжал доктор И. Ф. Толочинов, работавший психиатром в загородной больнице. Вдвоем с Иваном Петровичем они ставили собаку в станок, вливали ей в рот немного соляной кислоты — в ответ начинала течь слюна. Через некоторое время собаке просто показывали склянку, где первый

раз была кислота, — и слюна начинала течь с той же силой!

Он понимал, что психика не исчерпывается условными рефлексам, но они, несомненно, одни из главных ее элементов. И твердо верил, что объективное изучение условных рефлексов — надежное исследование физиологическим методом психических процессов. И. П. Павлов, собственно, и говорил не столько о психической, сколько о высшей нервной деятельности.

Но среди неврологов тоже далеко не все признали его идеи. И самым большим противником И. П. Павлова стал один из крупнейших наших специалистов по изучению мозга — Владимир Михайлович Бехтерев. Спор, который разгорелся между ними, обострился из-за того, что И. П. Павлов был "чужак" в неврологии. Всю жизнь он занимался пищеварением и вдруг изобрел способ изучать нервную систему, да еще утверждает, что способ этот самый правильный, простой и надежный.

Владимир Михайлович Бехтерев учился вместе с Иваном Петровичем в академии, не раз бывал вместе с ним за границей. Он был выдающимся неврологом, сделавшим много важных открытий в строении мозга. Павловскими рефлексам он было заинтересовался и даже попытался применять их у себя в лаборатории, однако ответом на внешнее раздражение у него служило не выделение слюны, а сокращение мышц. Изучать такие "сочетательные", как назвал их В. М. Бехтерев, рефлекс было намного сложнее. И такой четкости, как у И. П. Павлова, не получалось. Признать же, что "посторонний", не занимавшийся специально изучением мозга, сумел добиться большего, чем известные авторитеты, посвятившие этим исследованиям всю жизнь, было трудно.

На заседаниях Общества русских врачей происходили жаркие дискуссии между бехтеревцами и павловцами. Владимир Михайлович и по темпераменту был полной противоположностью И. П. Павлову. Его плавная речь, величая академическая внешность, мягкие манеры, легкая улыбка в ответ на язвительные павловские реплики действовали на Ивана Петровича только подстегивающе. Сама стремительность, порывистость, он едва мог дотерпеть до конца выступления своего оппонента, компенсируя вынужденное молчание красноречивыми жестами. Вначале пассивно скрещенные на груди руки — "говорите, мол, а мы слушаем". Потом руки в удивлении разведены в стороны: "А где же факты?" Затем опять временное затишье — нога закинута за ногу, переплетенные пальцы рук охватили колено: "Ну, ну, что там у вас еще припасено?" И вдруг резко вскинутая вверх рука с "указующим" перстом: "Опять одни слова, нет, черт возьми, наша "левая железка" себя оправдала!" — крепко сжатый кулак.

— Почему, почему для исследования функций высших отделов мозга мы должны ограничиться лишь слюнными условными рефлексам? — вопрошает с трибуны В. М. Бехтерев. — Я решительно против этого протестую. Движения животного — вот в чем наиглавнейше проявляется его взаимодействие с внешним миром. А слюнная реакция — это, в конце концов, частность, пустяк.

— Почему мы так цепко ухватились за слюнную методику и считаем ее наиточнейшим средством изучения коры мозга? — тут же парирует И. П. Павлов. — Да потому, что реакция слюною может поразительно легко сделаться чувствительнейшей реакцией коры на все и всяческие явления внешнего мира... Если бы даже собака имела человеческую речь, она вряд ли могла бы нам рассказать больше, чем рассказывает языком своей слюнной железки. "Различаешь ли ты, твоя высшая нервная система одну восьмую музыкального тона?" — задаем мы животному вопрос. И я не могу себе представить, как психолог своими способами мог бы вырвать у него ответ на это. "Да, различаю", — отвечает оно мне, физиологу, отвечает быстро, точно и достоверно — каплями своей слюны... Нет, мы нашей "плевой железкой" довольны.

— Разве метод раздражения и частичного разрушения мозга менее доказателен и объективен? Менее точен? — стараясь быть спокойным, возражает В. М. Бехтерев.

— Но вы, очевидно, не поняли самого главного! — взрывается И. П. Павлов. — Им нельзя изучать нормальную работу коры на полном здоровья животном! Как физиолог, человек эксперимента, я постараюсь скорее от слов, которые ничего не доказывают, перейти к делу. А дело в том, что на основании экспериментов мы пришли к заключению, что факты школы академика В. М. Бехтерева относительно специального якобы центра всех вообще условных рефлексов в коре мозга ошибочны. Центры эти — чистейшая фантазия... Сотрудник, проводивший опыты в лаборатории Владимира Михайловича, не учел болезненного состояния собаки после операции. Таковы факты. Словам я придаю мало значения и был бы рад видеть с вашей стороны экспериментальные доказательства...

Дискуссия о способах изучения центральной нервной системы у животных при всей ее остроте все же не развела участников по разные стороны баррикады. Оба они были по эту сторону барьера, который зовется материализмом. А вот с теми, кто стоял по другую сторону, — идеалистами всех мастей, академик И. П. Павлов воевал всерьез. И борьба эта продолжалась всю жизнь.

С одним из таких идейных противников судьба свела его в

Англии. "Лучший английский физиолог-невролог", по словам самого Ивана Петровича, которого он рекомендовал на выборах в профессуру Оксфордского университета и представлял к избранию почетным членом Академии наук России, Чарлз Шеррингтон сразу заявил:

— А знаете, ваши условные рефлексы в Англии едва ли будут иметь успех: они слишком пахнут материализмом.

Выступая много лет спустя на одной из "сред" по поводу лекции Ч. Шеррингтона в Кембридже "Мозг и его механизмы", Иван Петрович Павлов сказал:

— ...А теперь я займусь критикой господина Шеррингтона... Он всю жизнь был неврологом, занимался нервной системой... Невролог, все зубы проевший на этом деле, до сих пор не уверен, имеет ли мозг какое-нибудь отношение к уму... должно быть, автор на старости лет свихнулся, потерял нормальный рассудок, иначе трудно представить, каким образом такой крупный ученый докатился до идеалистического вздора чистейшей марки, утверждая, будто психическая деятельность не связана с материальной структурой мозга!

Нападки на условные рефлексы не прекращались и десять и двадцать лет спустя, когда они уже вошли во все учебники. Противники И. П. Павлова либо отрицали основные положения его учения, либо претендовали на приоритет открытия условных рефлексов.

— Рефлекторная теория становится тормозом прогресса, — говорил с трибуны Международного конгресса психологов американец Лэшли. — Рефлексы не исчерпывают сознания.

— Это же замаскированное утверждение о том, что сознание непостижимо, — кипятился И. П. Павлов. — Несмотря на научно приличные оговорки, это все та же вера в бессмертную и нетленную душу, разделяемая до сих пор массой думающих людей, не говоря уже о верующих!

"Анимист" (от слова "анима" — душа) — самая ругательная кличка у Павлова. О французском ученом Пьере Жанэ он говорил: "Конечно, он анимист, т. е. для него существует особая субстанция, которой законы не писаны и которой постигнуть нельзя... с ним, как с психологом, я в большой войне".

На другой "среде" досталось профессору Берлинского университета Келлеру.

— Келлер заядлый анимист, он никак не может помириться, что эту душу можно взять в руки, взять в лабораторию, на собаках разъяснить законы ее деятельности. Игра слов! Судороги мысли! — возмущался Иван Петрович в следующий раз. — Не признавать сходства в поведении животных и человека — что за

чепуха! Скажите на милость, как это можно? И это профессор Берлинского университета отпаливает такие вещи... Впрочем, он, оказывается, читает психологию на богословском факультете! Там, конечно, не встанешь на нашу точку зрения! Только так можно понять это недомыслие.

Сам Иван Петрович прекрасно осознавал, что по отношению к условным рефлексам у многих есть "нерасположение", что предстоит пробивать себе дорогу, сражаясь с "разных сортов" идеализмом и поповщиной. Ведь, как известно, изгнание законов науки есть протаскивание религии.

В 1950 году Чарлз Шеррингтон, состарившийся, одряхлевший, намного переживший российского материалиста И. П. Павлова, поднялся на трибуну Международного симпозиума, чтобы снова произнести свое заклание о непознаваемости души:

— Две тысячи лет назад Аристотель задавался вопросом: как сознание прикрепляется к телу? Мы все еще задаем тот же вопрос.

Ч. Шеррингтон грешил против истины. И раньше было довольно много известно о мышлении и вообще о психической деятельности, средоточием которой служит кора головного мозга. За прошедшие годы ученые узнали еще больше подробностей о том, как происходят и каким законам подчиняются "движения души". И добыты эти знания, конечно же, психологами-материалистами, не боящимися исследовать человеческое сознание методами современной науки.

Но борьба не кончилась. До сих пор можно услышать, что условные рефлексы имеют лишь историческую ценность, что к психологии они неприменимы. Однако это неверно. Условные рефлексы — основной закон работы нервной системы. Другое дело, что деятельность мозга не сводится только к ним. Но И. П. Павлов и не пытался выдать их за панацею от всех бед. Он заложил основу, создал фундамент.

— Я всегда с самого начала стоял на том, что физиология высшей нервной деятельности дает основную систему, — говорил он в самом конце жизни. — Когда же она достаточно расширится и углубится, когда она будет состоять из очень большого материала, тогда на эту систему физиологических механизмов можно будет попытаться наложить отдельные субъективные явления. Это мне представляется законным браком физиологии и психологии, или слиянием их воедино.

"Если какой-либо человек достигает таких значительных успехов, как Павлов, и оставляет после себя наследство, столь же значительное как по величине полученных данных, так и в идейном отношении, то мы, естественно, заинтересованы узнать, как и каким образом он это совершил, чтобы понять, каковы же были психофизиологические особенности этого человека, которые обеспечили ему возможность таких достижений? Конечно, он всеми был признан гением".

Так говорил член-корреспондент Польской академии наук, физиолог Ю. Конорский, работавший одно время по приглашению И. П. Павлова у него в лаборатории.

Сам же Иван Петрович не раз повторял:

"Ничего гениального, что мне приписывают, во мне нет. Просто я непрестанно наблюдаю и думаю о своем предмете, целиком сосредоточен на нем, потому и получаю положительные результаты. Всякий на моем месте, поступая так же, стал бы гениальным".

Он причислял себя к "маленьким или средним" ученым, искренне считая, что ничем особенным не отличается от своих коллег. "Да, немножко постигли собачью натуру", — говорил, находясь в зените славы, на вершине научных успехов. Но и тем, кто имел удовольствие общаться с ним лично, и нам — с высоты разделяющих нас лет — отлично видно, что профессор И. П. Павлов был личностью незаурядной.

Это не был только пытливый, живой ум. Это была мудрость, способность видеть явления глубже и шире, чем все. Умение мыслить нестандартно, по-своему. Использовать совершенно новые способы и приемы умственной работы. Не зря ведь после смерти И. П. Павлова с помощью его условных рефлексов не было открыто в высшей нервной деятельности ничего равного по масштабам тому, что добыто им самим. Видно, дело не только в том, что главное было уже найдено, а и в том, что не нашлось столь же глубокого ума, способного проникнуть в новые пласты знания. Да и павловские "среды" без него утратили свое значение, выродились в обычные заседания с протоколом и председателем: коллективное думание без лидера забуксовало.

Почти все ученики И. П. Павлова, сами добившиеся больших успехов в науке, задумывались об истоках его могучего интеллекта, необычайного творческого потенциала. После смерти учителя каждый из них считал своим долгом написать о нем. Из собранных по страницам воспоминаний об Иване Петровиче Павлове штрихов предстает перед нами его мыслительный портрет: выявляются те черты, которые, по свидетельствам

очевидцев, составляли главные особенности его умственной деятельности.

Разум И. П. Павлова был необычайно богатым и разносторонним, свидетельствуют те, кто общался с ним. Работы, проведенные его многочисленными учениками, были вдохновлены и руководствовались его мыслями и идеями. Этот факт не требует доказательств. Собственные его статьи и лекции также носили личностный характер, отпечаток его гипотез, предположений, научных концепций. Настолько глубоких, что нередко служили основой совершенно новых линий исследования, предпринятых позже его последователями.

И все-таки этот громадный арсенал высказанных вслух и достаточно четко сформулированных идей составлял только какую-то часть всего запаса обдумываемых им проблем. Лишь, как принято говорить, надводную часть айсберга. Фундамент был намного больше видимой постройки.

Нередко большие ученые в пожилом возрасте, отходя от конкретной работы в лаборатории, на досуге пишут книги на "свободную тему". Крупнейший американский невролог Херрик, уйдя на покой, издал книгу, которая называлась "Думающий мозг" (это было в 20—30-е годы нашего века, когда только начинали проясняться общие принципы работы мозга). Иван Михайлович Сеченов свои заветы ученикам и последователям высказал в знаменитых "Автобиографических записках".

Жанр этот вообще довольно распространен среди корифеев науки. Иван Петрович Павлов придавал таким произведениям большое значение. "Я давно уже мечтаю написать такую книгу, — говорил он. — И если будет когда-нибудь достаток времени, обязательно напишу. Посудите сами: всю жизнь ученый должен взвешивать каждое свое слово, должен немедленно подтверждать его фактами, доказательствами. Он не имеет права, если не хочет потерять свою репутацию ученого, говорить о еще не доказанных им догадках. Но исчерпывается ли этим все внутреннее содержание ученого? Не погибает ли вместе с ним очень часто его богатая интуиция, догадки, далеко идущие соображения? Мне кажется, что наука очень много приобрела бы от того, если бы каждый ученый, много лет поработавший над установлением точных знаний, в конце своей жизни уделил внимание и этим, еще не обоснованным соображениям. Важно лишь, чтобы его научная фантазия не отрывалась от действительности, чтобы она была в постоянной связи с этой действительностью".

Но сам он так и не сумел написать книги на свободную тему. У него просто не оказалось для этого "достатка времени", потому что до последних дней жизни — а он прожил восемьдесят семь

лет — был занят напряженной, неотложной творческой работой. Изданная автобиография его занимает каких-нибудь две-три страницы сугубо делового текста. И нам остается только сожалеть о несвершившемся.

Богатство идей сочеталось у Ивана Петровича с необычайной живостью мысли и своего рода "эластичностью ума". С жаром отстаивая свои позиции, он всегда был готов признать ошибочными выношенные теории, ежели его фактами, делом убеждали в их несостоятельности. Он был как бы постоянно настроен на самокритику и даже некоторый скептицизм к самому себе. "Вы должны постоянно сомневаться и проверять себя", — говорил он ученикам.

Критическая самооценка — черта сильных характеров. Именно с нее начинаются большие биографии.

Эта способность в сочетании с даром творчества, с постоянным генерированием новых идей давала ему возможность рассматривать любую научную проблему не только изнутри, но и как бы со стороны. И необыкновенно расширяла границы его видения одних и тех же фактов. Немудрено, что все его научные предположения и гипотезы "имели дух необычайной мудрости".

К фактам, добытым из жизни, доказанным в опытах, многократно проверенным, профессор И. П. Павлов питал особую слабость. "Придется пойти на поклон к господину факту", — любил он повторять. И если случалось ему отступать, соглашаться с чужим, противоречащим его идеям мнением, то только под напором "господина факта".

"Уже в лекциях Ивана Петровича поражала чрезвычайная конкретность точного мышления, — вспоминал профессор Георгий Павлович Конради. — Это было характерно для всего склада павловского мышления... Конкретная точность павловского мышления, не уходящего в туманные дали абстракций, сказалась в том, что во всех томах его трудов можно собрать лишь несколько страниц, относящихся к теоретическим построениям и гипотезам. Все остальное — это факты и предположения, допускающие экспериментальную проверку, точное описание явлений и наметка дальнейших исследований. Мысль Павлова не уходила в столь характерное, например, для Клода Бернала, Дюбуа Раймона (да и И. М. Сеченова) обсуждение общебиологических и даже философских вопросов. Конечно, учение об условных рефлексах содержит великую теорию и непосредственно связано с проблемами философии. Но не от одних лишь теоретических построений и не только от идей И. М. Сеченова Павлов пришел к учению об условных рефлексах; это учение возникло из непосредственно подсмотренных фактов".

Любое мудрствование, запутанность сердили И. П. Павлова. Он не раз повторял, что в ученом-исследователе ценит выше всего способность "концентрировать внимание" на изучаемом предмете.

"Гений, — говорил Иван Петрович, — это высшая способность концентрировать внимание... Неотступно думать о предмете, уметь с этим ложиться и с ним же вставать! Только думай, только думай все время — и все трудное станет легким".

Иван Петрович умел "держать мысль" месяцами и годами. Нацело выключая из поля внимания второстепенное, он не терял способности видеть одновременно "и лес и деревья", как сказал кто-то из его сотрудников. Поразительной была его способность даже на, казалось бы, "вполне исчерпанный факт" смотреть по-новому, замечая в нем новые детали.

"Когда-то Клод Монэ написал несколько десятков картин, изображая стог сена при разной погоде, в разное время года, дня, — читаем мы в записках Дмитрия Андреевича Бирюкова, ставшего позже директором Института экспериментальной медицины. — Очевидно, исключительно сильной натуре Павлова была свойственна такая же способность неисчерпаемого восприятия оттенков, тончайших нюансов в обычных, как казалось другим, фактах".

Все общавшиеся с Иваном Петровичем на знаменитых "средах" помнят его нелюбовь к шаблонному мышлению вообще. Видимость понимания и готовность сразу согласиться всегда раздражала его. Он предпочитал, чтобы с ним спорили, даже придирались к деталям, чтобы было движение мысли, проверялись и контролировались уже выработанные, сложившиеся выводы.

У него была привычка по несколько раз обсуждать одно и то же. Иногда три-четыре раза на дню и с самыми разными людьми. Причем чем меньше человек знает о конкретной теме, тем для Ивана Петровича лучше: объясняя все с самого начала, он для себя уточняет и проясняет многое, считавшееся само собой разумеющимся. Бывало, начнет говорить, потом вдруг прервет сам себя: "Нет, погодите-ка, вот так будет понятней". И повторит свою мысль в новом варианте. Или найдет какого-нибудь совсем свежего слушателя, постороннего в этом деле, инженера к примеру. "Он ведь ни черта не знает в физиологии, а понял. Мне интересно практиковаться в простом и ясном изложении вопроса. Я исходил лишь из того, что он примерно знает, что сердце лежит отдельно от желудка".

Ум его был независим и свободен. Он дерзко ломал привычные понятия. Надо было обладать незаурядной смелостью ума, чтобы посмечь прозаическую слюнную железу заставить

служить индикатором таинств нашего душевного мира. Это сразу открыло перед наукой широкие горизонты, заставило ученых мыслить по-новому.

Новатором Иван Петрович был и в изобретенной им форме коллективного думания. Трудно даже представить, что то, к чему современные психологи, исследующие человеческое мышление, пришли в 60—70-х годах нашего века и на пробу стали применять в научных коллективах, было опытным путем нащупано И. П. Павловым и введено в обиход его лабораторий. Сейчас эти приемы называют "мозговой атакой" или "мозговым штурмом" и тщательно изучают. Тогда же они никак специально не исследовались, и никто даже не подозревал об их существовании. Но именно они составляли суть и смысл павловских "сред" и "дружеского чаепития".

У Ивана Петровича это называлось "распустить фантазию". Он усаживался в удобное кресло, принимая несколько расслабленную (не свойственную ему в других обстоятельствах) позу. Беспокойные руки Ивана Петровича на этот раз — удивительное дело! — лежали спокойно. Речь его тоже была необычно плавной, замедленной — он думал вслух.

"Странное чувство охватывало слушателей, — писал один из павловских учеников, Леонид Александрович Андреев. — Казалось, что весь творческий процесс происходит на глазах, как бы под стеклянным колпаком. До важных обобщений поднимался его ум в эти минуты. В великом волненье пребывали и сотрудники лаборатории в течение многих дней после этого. Рожденная идея пускалась в "обработку". Создавалось стройное здание умозаключений, логически выведенных из критически рассмотренных фактов. Недостающие звенья дополнялись новыми экспериментами. Устаревшее выбрасывалось вон без всякого сожаления".

"Распускать фантазию" мог и каждый из сотрудников. Любая изобретательность поощрялась, но беспочвенное фантазерство тут же пресекалось.

Как правило, первое высказывание новой мысли было несколько скептическим: вот, мол, какие идеи могут посетить человека. Тут-то и необходимо было обкатать ее на людях. Иван Петрович охотно выслушивает все возражения, словно ищет в коллективной беседе те аргументы, которые ему самому не пришли в голову. Постепенно идея выкристаллизовывается, уточняется, приобретает законченный вид. Теперь с Иваном Петровичем спорить трудно, его надо убедить, вернее, переубедить, так как он готов к бою во всеоружии продуманных фактов и доводов.

Коллективное "обкатывание" новой мысли, свободный полет фантазии при ее совместном обсуждении, отсекающее по ходу беседы всего лишнего, экспериментальная проверка основного зерна идеи — это почти протокольная запись тех "мозговых атак", которые современные психологи призывают применять на научных собраниях или производственных совещаниях. Там тоже вначале разрешается высказывать самые фантастические предположения, чтобы затем отобрать полезные мысли и сложить из них осто́в будущих реальных планов.

Как видим, Иван Петрович Павлов любил и умел думать, намного опередив и в этом своих современников. И уж коль скоро он был таким специалистом в этом вопросе, который касается не только ученых, но абсолютно всех мыслящих людей, то нельзя не предоставить слово ему самому. Благо однажды он даже прочел публичную лекцию в Петроградском женском институте, которая так и называлась — "Об уме". Ее только недавно разыскали и восстановили по случайно сохранившейся стенограмме.

ОБ УМЕ

— Мотив моей лекции — это выполнение одной великой заповеди, заветной классическим миром последующему человечеству. Эта заповедь истинна, как сама действительность, и вместе с тем всеобъемлюща. Она захватывает все в жизни человека, начиная от самых маленьких забавных случаев обыденности до величайших трагедий человечества. Заповедь эта очень коротка, она состоит из трех слов: "Познай самого себя"... Выполняя классическую заповедь, я вменил себе в обязанность попытаться дать некоторый материал к характеристике русского ума. Вы, может быть, спросите, какие у меня права на это, что я — историк русской культуры или психолог? Нет, я ни то, ни другое — и, однако, мне кажется, что некоторое право у меня на эту тему есть.

Я юношей вошел в научно-экспериментальную лабораторию, в ней я провел всю жизнь, в ней я сделался стариком и в ней же мечтаю окончить свою жизнь. Что же я видел в этой лаборатории? Я видел здесь неустанную работу ума... Следовательно, можно допустить, что я понимаю, что такое ум, в чем он состоит, в чем обнаруживается. Это с одной стороны. С другой стороны, я постоянно соприкасался, общался с многочисленными товарищами, посвятившими себя науке. Передо мною прошли

целые тысячи молодых людей, избравшие своим занятием умственную и гуманную деятельность врача, не говоря уже о других жизненных встречах. И мне кажется, что я научился оценивать человеческий ум вообще и наш русский в частности.

Я, конечно, не буду сейчас погружаться в тончайшие психологические исследования об уме. Я ко всему вопросу отнесусь чисто практически. Я опишу вам ум в его работе, как я это знаю по личному опыту и на основании заявлений величайших представителей человеческой мысли...

Что такое научная лаборатория? Это маленький мир, маленький уголок действительности. И в этот уголок устремляется человек со своим умом и ставит себе задачей узнать эту действительность: из каких она состоит элементов, как они сгруппированы, связаны, что от чего зависит и т. д. Словом, человек имеет целью освоиться с этой действительностью так, чтобы можно было верно предсказывать, что произойдет в ней в том случае или в другом, чтобы можно было эту действительность даже направлять по своему усмотрению, распоряжаться ею, если это в пределах наших технологических средств. К изображению ума, как он проявляется в лабораторной работе, я приступлю и постараюсь показать все стороны его, все приемы, которыми он пользуется, когда постигает этот маленький уголок действительности.

Первое самое общее свойство, качество ума — это постоянное сосредоточие мысли на определенном вопросе, предмете... Когда ум направлен к действительности, он получает от нее разнообразные впечатления, хаотически складывающиеся, разрозненные. Эти впечатления должны быть в нашей голове в постоянном движении, как кусочки в калейдоскопе, для того, чтобы после в вашем уме образовалась наконец та фигура, тот образ, который отвечает системе действительности, являясь ее верным отпечатком.

...Припомним хотя бы о Ньютоне. Ведь он со своей идеей о тяготении не расставался ни на минуту. Отдыхал ли он, был ли одиноким, представлял ли на заседании Королевского общества и т. д., он все время думал об одном и том же.

Или вот великий Гельмгольц... Он говорит, что когда ставил перед собой какую-нибудь задачу, то не мог уже от нее отделаться, она преследовала его постоянно, пока он ее не разрешал.

Я перейду теперь к следующей черте ума. Действительность, понять которую ставит своей задачей ум, как говорится, спрятана за семью замками, за семью печатями. Она может быть удалена от наблюдателя, и ее надо приблизить, например, при помощи

телескопа. Она может быть чрезвычайно мала, и ее надо увеличить, посмотреть на нее в микроскоп. Она может быть летуча, быстра, и ее надо остановить или применить такие приборы, которые могут за ней угнаться, и т. д. и т. п. Таким образом, между нами и действительностью накапливается длиннейший ряд сигналов... И вот ум должен разобраться во всех этих сигналах, учитывать возможности ошибок, искажающих действительность, и все их устранить или предупредить.

Но это лишь часть дела... Что такое наши слова, которыми мы описываем факты, как не новые сигналы, которые могут, в свою очередь, затемнить, исказить истину. Слова могут быть подобраны неточные, неподходящие, могут неверно пониматься и т. д. И вы опять должны остерегаться, чтобы не увидеть благодаря словам действительность в ненадлежащем, неверном виде... И задачей вашего ума будет дойти до непосредственного видения действительности, хотя и при посредстве различных сигналов, но обходя и устраняя многочисленные препятствия, при этом возникающие.

Следующая черта ума — это абсолютная свобода мысли, свобода, о которой в обыденной жизни нельзя составить себе даже и отдаленного представления. Вы должны быть всегда готовы к тому, чтобы отказаться от всего того, во что вы до сих пор крепко верили, чем увлекались, в чем полагали гордость вашей мысли... Действительность велика, бесконечно и беспредельно разнообразна, она никогда не укладывается в рамки наших признанных понятий, наших самых последних знаний. Без абсолютной свободы мысли нельзя увидеть ничего истинно нового, что не являлось бы прямым выводом из того, что вам уже известно. Позвольте мне привести пример из моей науки.

Вы знаете, что центральным органом кровообращения является сердце, чрезвычайно ответственный орган, держащий в своих руках судьбу всего организма. Физиологи много лет интересовались найти те нервы, которые управляют этим важным органом...

Надо сказать, что человеческому знанию прежде всего дались нервы скелетной мускулатуры, так называемые двигательные нервы. Отыскать их было очень легко. Стоило быть перерезанному какому-нибудь нерву, и тот мускул, к которому шел данный нерв, становился парализованным. С другой стороны, если вы этот нерв искусственно вызываете к деятельности, раздражая его, например, электрическим током, вы получаете работу мышцы — мышца на ваших глазах двигается, сокращается. Так вот такого же нерва, так же действующего, физиологи искали и у сердца...

Нерв, идущий к сердцу, было отыскать нетрудно. Он идет по шее, спускается в грудную полость и дает ветви к различным органам, в том числе и к сердцу. Это так называемый блуждающий нерв. Физиологи имели его в руках, и оставалось лишь доказать, что этот нерв действительно заведует работой сердца...

Почему же так? Действие этого нерва на сердце состоит в том, что если вы его раздражаете, то сердце начинает биться все медленнее и медленнее и наконец совсем останавливается. Значит, это был нерв совершенно неожиданно действующий, не так, как нервы скелетной мускулатуры. Это нерв, который удлиняет паузы между сердечными сокращениями и обеспечивает отдых сердцу. Словом, нерв, о котором не думали и которого поэтому не видели.

Это поразительно интересный пример! Гениальные люди смотрели и не могли увидеть действительности, она от них скрылась. Я думаю, вам теперь понятно, почему от ума, постигающего действительность, требуется абсолютная свобода. Только когда ваша мысль может все вообразить, хотя бы это и противоречило установленным положениям, только тогда она может заметить новое.

И мы имеем прямые указания, идущие от великих мастеров науки, где этот прием применяется полностью в самой высшей мере. О знаменитом английском физике Фарадее известно: он делал до такой степени невероятные предположения, так распускал свою мысль, давал такую свободу своей фантазии, что стеснялся в присутствии всех ставить опыты. Он запирался и работал наедине, проверяя свои дикие предположения.

Крайняя распушенность мысли сейчас же умеряется очень тяжелой чертой для исследующего ума. Это — абсолютное беспристрастие мысли! Как бы вы ни возлюбили какую-нибудь вашу идею, сколько бы времени ни потратили на ее разработку, вы должны ее откинуть, отказаться от нее, если встречается факт, который ей противоречит и ее опровергает. И это, конечно, представляет страшные испытания для человека. Этого беспристрастия мысли можно достигнуть только многолетней, настойчивой школой...

Я отлично помню свои первые годы. До такой степени не хотелось отступать от того, в чем ты положил репутацию своей мысли, свое самолюбие. Это чрезвычайно трудная вещь, здесь заключается поистине драма ученого человека...

Когда действительность начинает говорить против вас, вы должны покориться, так как обмануть себя можно, и очень легко, и других, хотя бы временно, тоже, но действительность не

обманешь. Вот почему в конце очень длинного жизненного пути у человека вырабатывается убеждение, что единственное достоинство твоей работы, твоей мысли состоит в том, чтобы угадать и понять действительность, каких бы это ошибок и ударов по самолюбию ни стоило.

Дальше. Жизнь, действительность, конечно, крайне разнообразны. Сколько мы знаем, все ничтожно по сравнению с разнообразием и бесконечностью жизни. И все это должно быть охвачено изучающим умом.

Как в случае с пристрастием ума, совершенно так же и здесь необходимо очень тонкое балансирование. Вы должны, сколько хватит вашего внимания, охватить все подробности, все условия, и, однако, если вы все с самого начала захватите, вы ничего не сделаете, вас эти подробности, обессилят. Сколько угодно есть исследователей, которых эти подробности давят, и дело не двигается с места. Здесь надо уметь закрывать до некоторого времени глаза на многие детали, для того чтобы потом все охватить и соединить...

Идеалом ума, рассматривающего действительность, есть простота, полная ясность, полное понимание. Хорошо известно, что до тех пор, пока вы предмет не постигли, он для вас представляется сложным и туманным. Но как только истина уловлена, все становится простым. Признак истины — простота, и все гении просты своими истинами.

Но этого мало. Действующий ум должен отчетливо сознавать, что чего-нибудь не понимает, и сознаваться в этом. И здесь опять-таки необходимо балансирование. Сколько угодно есть людей и исследователей, которые ограничиваются пониманием. Победа великих умов в том и состоит, что там, где обыкновенный ум считает, что им все понято и изучено, великий ум ставит себе вопрос: "Да на самом ли деле это так?" И сплошь и рядом одна уже такая постановка вопроса есть преддверие крупного открытия...

Но это балансирование ума идет еще дальше. В человеке можно даже встретить некоторый антагонизм к такому представлению, которое слишком много объясняет, не оставляя ничего непонятого. Тут существует какой-то инстинкт, который становится на дыбы, и человек стремится, чтобы была какая-нибудь часть неизвестного. И это совершенно законная потребность ума, так как неестественно, чтобы все было понято, раз мы окружены таким бесконечием неизвестного... Это — ревность ума к истине, ревность, которая не позволяет сказать, что все уже исчерпано и больше незачем работать.

Для ума необходима привычка упорно смотреть на истину,

радоваться ей. Мало того, чтобы истину захватить и этим удовлетвориться. Истиной надо любоваться, ее надо любить. Когда я был в молодые годы за границей и слушал великих профессоров-стариков, я был изумлен, каким образом они, читавшие по десяткам лет лекции, тем не менее читают их с таким подъемом, с такой тщательностью ставят опыты? Тогда я плохо это понимал. А затем, когда мне самому пришлось сделаться стариком, это для меня стало понятно...

И вот теперь, когда я ставлю опыт, я думаю, едва ли есть хотя один слушатель, который бы с таким интересом, с такой страстью смотрел, как я, видящий это уже в сотый раз. Про Гельмгольца рассказывают, что, когда он представил, что вся разнообразная энергия жизни на земле есть превращение энергии, излучающейся на нас с Солнца, — он превратился в настоящего солнцепоклонника. Я слышал от Циона, что Гельмгольц, живя в Гейдельберге, в течение многих годов каждое утро спешил в пригород, чтобы видеть восходящее солнце. И я представляю, как он любовался при этом на свою истину.

Последняя черта ума, поистине увенчивающая все, — это смирение, скромность мысли. Примеры этому общеизвестны. Кто не знает Дарвина, кто не знает того грандиознейшего впечатления, которое произвела его книга во всем умственном мире. Его теорией эволюции были затронуты буквально все науки. Едва ли удастся найти и другое открытие, которое можно было бы сравнить с открытием Дарвина по величию мысли и влиянию на науку, разве открытие Коперника.

И что же? Известно, что эту книгу он осмелился опубликовать лишь под влиянием настойчивых требований своих друзей, которые желали, чтобы за Дарвином остался приоритет, так как в то время к этому же вопросу начал подходить другой английский ученый — Уоллес. Самому же Дарвину все еще казалось, что у него недостаточно аргументов, что он недостаточно знаком с предметом. Такова скромность мысли у великих людей. И это понятно, так как они хорошо знают, как трудно, каких усилий стоит добывать истины.

Вот основные черты ума, вот те приемы, которыми пользуется действующий ум при постижении действительности. Я вам нарисовал этот ум, как он проявляется в своей работе, и я думаю, что рядом с этим совершенно не нужны тонкие психологические описания. Этим все исчерпано. Вы видите, что настоящий ум — это есть ясное, правильное видение действительности...

"Я вовсе не ученый сухарь", — как-то мимоходом заметил И. П. Павлов. Собственно, и сомневаться-то вряд ли кому из знавших его пришло бы в голову. Никакая пунктуальность, строгая размеренность жизненного уклада никого не могли ввести в заблуждение. Иван Петрович Павлов был очень эмоциональным, живым, увлекающимся человеком. И четкость рабочего ритма, безупречное соблюдение собственноручно выработанного режима были ему необходимы, чтобы держать свой неукротимый темперамент в рамках.

Да и сама наука не была для него только обязательным делом, работой. Это была его страсть, увлечение, бессменная пожизненная любовь.

"Он больше всего в жизни любил свою науку, свою физиологию", — писала его многолетняя сотрудница М. К. Петрова. "Ему незачем было искать развлечений вовне, — вторил ей один из ближайших учеников И. П. Павлова — академик А. Д. Сперанский, — ибо наука удовлетворяла запросы и его ума, и его эмоций. Все виды искусственного возбуждения и аффекты были ему чужды, ибо служили лишь помехой высшей из доступных ему радостей — ясности представлений".

И научные истины он постигал не только холодным рассудком. "Дар его интуиции, — вспоминал ушедший от него в "физическую физиологию" А. Ф. Самойлов, — дар нащупывания, отгадывания истин в области сложных реакций и соотношений организма совершенно исключителен и единствен в своем роде — кажется, что сама истина идет ему навстречу. Мы встречаемся здесь с даром непосредственного, как бы поэтического откровения".

Поэтическое откровение — в строгой науке: возможно ли такое? Принято считать, что наука действует строго логически: наблюдение, гипотеза, экспериментальная проверка ее, окончательно сформулированный закон — таков путь добывания истин учеными. Художник тоже постигает истины, но иначе — интуитивно, непосредственно из жизненного опыта выуживая внутренние связи и аналогии между предметами и явлениями окружающего нас мира.

Но всегда ли ученый действует только логически, а поэт лишь интуитивно? Ведь высказал же великий Гёте в своих поэтических откровениях зачатки вполне научных идей, подробно развитых впоследствии Ч. Дарвином. А один из величайших физиков — Фарадей — открытые им закономерности нашел интуитивно, так как все его понимание физических явлений было основано не на точном знании, а на непосредственном "видении"

явлений.

Чувство и разум не разделены стеной. Фантазия, интуиция необходимы ученому не меньше, чем человеку искусства. У Ивана Петровича Павлова эти "поэтические" качества были особенно развиты."...Он, как и Фарадей, способен совершенно оторваться от предвзятых или, во всяком случае, официально признаваемых и общепринятых учений и смотреть, и смотреть на окружающий мир своим открытым взглядом, непосредственно, по-своему воспринимая игру живой природы", — писал один из его давних сотрудников.

Наукой Иван Петрович занимался увлеченно, даже с азартом, внося в лабораторные будни неожиданное оживление. Ставится, к примеру, опыт. Просто дожидаться результатов скучно. Иван Петрович горазд на выдумку: тут же пускает по рукам подписной лист. Каждый должен написать свое предсказание да еще внести 20 копеек. Получилось чрезвычайно интересное и веселое состязание, в котором приняли участие и сотрудники соседних лабораторий.

Иван Петрович вообще обожал всякого рода соревнования. Живя на даче в Силломягах, он организовал велосипедную компанию. И не было для него большего удовольствия, чем в очередной раз обогнать своих более молодых соперников. Грибы и те собирали не просто так, а кто больше. В многолетнем соревновании с профессором Андреем Сергеевичем Фоминцыным Иван Петрович неизменно выходил победителем. Однажды, накануне отъезда в Петербург, тот приходит и заявляет, что вчера напоследок собрал грибов больше рекордного числа. Мог ли Иван Петрович спокойно пережить такое поражение?

Отъезд был отложен, железнодорожные билеты сданы. А профессор И. П. Павлов отправился в лес за своим "101-м грибом". И не успокоился, пока не набрал больше соседа. После чего, умиротворенный, уехал в Петербург.

Он умудрялся устраивать соревнования даже там, где к этому не было никакого повода. Будучи академиком, вздумал состязаться с шофером подаваемого ему "форда": кто окажется точнее. Условие было прибыть на место не раньше и не — упаси бог — позже, а тютелька в тютельку. Втянутый в азартное соревнование, его шофер Андрей Николаевич Потемкин подъезжал к институту чуть заранее и "прятал" огромный лимузин (что было не так просто) за углом, чтобы в нужный момент подкатить ко входу. Где его, конечно же, встречал опередивший на секунду-другую Иван Петрович с неизменными часами в руках. Щелкнув крышкой часов и довольно смеясь, он усаживался в автомобиль.

Отдыху Иван Петрович предавался так же упоенно, как и работе. Лето — все три месяца он не прикасался к делам: надо было "дать летний отдых условным рефлексам". Когда всего один раз академик И. П. Павлов вынужден был провести отпуск иначе, он не преминул пожаловаться на это в письме к сотруднице:

"Дорогая Марья Капитоновна!

Вот уже истекает срок моего отдыха, а я им совершенно недоволен. Во-первых, не было никакого дела, никакой цели, а без этого мне скучно, неприятно. Спорт также не шел. Не было компании для городков, а велосипеда так себе здесь и не нашел. Книги под руками были совершенно пустые. И наконец, купания все время остаются теплые, что мне неинтересно и бесполезно. В силу всего этого не занятая ничем голова частенько обращалась к условным рефлексам, и таким образом от них не отдохнул..."

Помимо пеших и велосипедных прогулок, обязательных купаний и чтения, непременным условием отдыха были работы в саду.

Любовь к земле И. П. Павлов сохранил с далеких рязанских времен. Ничто другое не могло ему заменить удовольствия от работы в саду. С ранней весны в городской квартире Павловых появлялись ящики с рассадой. Иван Петрович ежедневно проверял всходы. На даче никому не доверял обрезку кустов, цветы высаживал непременно сам. Срезанных цветов в вазах не признавал: "Это же умирающая природа". Зато обожал цветущие растения на клумбах, особенно душистые левкои. Поливал их, таская воду ведрами. Заложив руки в карманы, подолгу молча смотрел на цветы.

Дорожки в саду и те сам посыпал свежим песком, поднимая его с берега моря по крутому обрыву. "Он любил всякую работу и делал ее с большим удовольствием, — говорила Серафима Васильевна. — Со стороны казалось, что данная работа для него самая приятная, настолько она его радовала и веселила. В этом и заключалось счастье его жизни".

А сам он говорил: "Всю мою жизнь я любил и люблю умственный труд и физический, и, пожалуй, даже больше второй. А особенно чувствовал себя удовлетворенным, когда в последний вносил какую-нибудь хорошую догадку, т. е. соединял голову с руками".

Устав от "непрерывного думания", Иван Петрович иногда сожалел, что не одарен хотя бы малым талантом лепить или рисовать, чтобы за такой работой отдохнуть от "возни в мозгу". Ему мало было научного дара, необходим был еще и художнический! Разнообразие и разносторонность занятий и наклонностей И. П. Павлова буквально поражают.

Купив для детей атлас звездного неба, Иван Петрович так увлекся астрономией, что позже в своем научном городке под Ленинградом на башне главного здания велел установить телескоп и частенько рассматривал в него звездное небо.

Занявшись коллекционированием бабочек (столовая его квартиры сплошь была увешана плоскими ящиками с жуками и бабочками, пойманными на даче и привезенными знакомыми из дальних стран — с острова Мадагаскар и то был экземпляр), он стал со временем настоящим специалистом-энтомологом; сам выводил бабочек из куколок.

Неутоленное желание рисовать нашло свое выражение в коллекции картин, которые он стал собирать. Стены гостиной большой академической квартиры от пола до потолка занимали полотна И. Репина, В. Сурикова, И. Левитана, К. Маковского, В. Серова, А. Васнецова и других известных художников. Многие — в подлинниках или этюды к подлинникам.

Иван Петрович любил подолгу внимательно рассматривать картины мастеров. Когда болел — просил снять какую-нибудь и поставить рядом с кроватью на стул, чтобы иметь возможность любоваться знакомым изображением вблизи. Очень любил "Золотую осень" и "Над вечным покоем" И. Левитана, "Не ждали" И. Репина. С Ильей Ефимовичем Репиным был знаком лично. "Это Толстой в живописи, — утверждал Иван Петрович, — он понимал крупные душевные переживания".



Если науку И. П. Павлов постигал поэтически, то живопись воспринимал скорее умственно.

Ждал с нетерпением открытия выставок картин, приходил на выставки по нескольку раз, словно не просто любовался, а изучал каждое произведение. Не прочь был поспорить о появившейся новинке.

Когда стал знаменитым, его самого стали рисовать и лепить. Скульптор Сергей Тимофеевич Коненков, живший тогда в

Америке, несколько раз встречался там с И. П. Павловым, работая над его бюстом. "Иван Петрович не скрывал своих горячих симпатий к художникам-передвижникам, к древним русским иконописцам, — вспоминал С. Т. Коненков позже, вернувшись на Родину, — одновременно он был большим знатоком эпохи Возрождения, хвалил Тициана и как мастера, и как человека, горячо доказывал, что светлый дух Возрождения никогда не иссякнет, и тут же с присущим ему юмором бичевал всякие "измы" и декадентские "опусы" в искусстве".

Художник М. В. Нестеров, создавший целую серию живописных портретов Павлова, не сразу решился писать его. Все же он "набрался храбрости" и поехал в Ленинград познакомиться с И. П. Павловым. Дверь открыла Серафима Васильевна. Не успел художник поздороваться, как неожиданно и стремительно с громким приветствием появился сам Иван Петрович.

"Целый вихрь слов, жестов неслись, опережая друг друга. Более яркой особы я и представить себе не мог. Я был сразу им покорен, покорен навсегда. Иван Петрович ни капельки не был похож на те "официальные" снимки, что я видел... Иван Петрович был донельзя самобытен, непосредствен. Этот старик был "сам по себе", и это "сам по себе" было настолько чарующе, что я позабыл о том, что я не портретист, во мне исчез страх перед неудачей, проснулся художник, заглушивший все, осталась лишь неуголимая жажда написать этого дивного старика".

И. П. Павлов был изображен художником на его любимой террасе в только начинавших тогда строиться знаменитых Колтушах — научном городке под Ленинградом. И самая трудная задача была заставить "очень подвижного 86-летнего старика сидеть более или менее спокойно".

Пришлось усадить его за стол для беседы с сотрудником. Помощник Ивана Петровича докладывал, а профессор слушал и задавал вопросы. Но так продолжалось очень недолго. Беседа, естественно, становилась все оживленнее. Иван Петрович в разговоре частенько по привычке ударял кулаками по столу.

Так и запечатлел его художник — с этим характерным, чисто павловским жестом, азартно доказывающим что-то невидимому собеседнику. А на столе — разделяющие их цветы. Хотели было поставить любимые И. П. Павловым сиреневые левкои, да куст оказался слишком высок, заслонял лицо. И тогда на стол водрузили низенький белый, "наивно провинциальный" цветок, издревле называемый "убором невесты".

Это был, по общему признанию, один из самых удачных портретов Ивана Петровича (теперь он находится в Третьяковской галерее), передававший живой темперамент "неугомонного

старика". И представить нельзя, что он сделан всего за год до смерти И. П. Павлова.

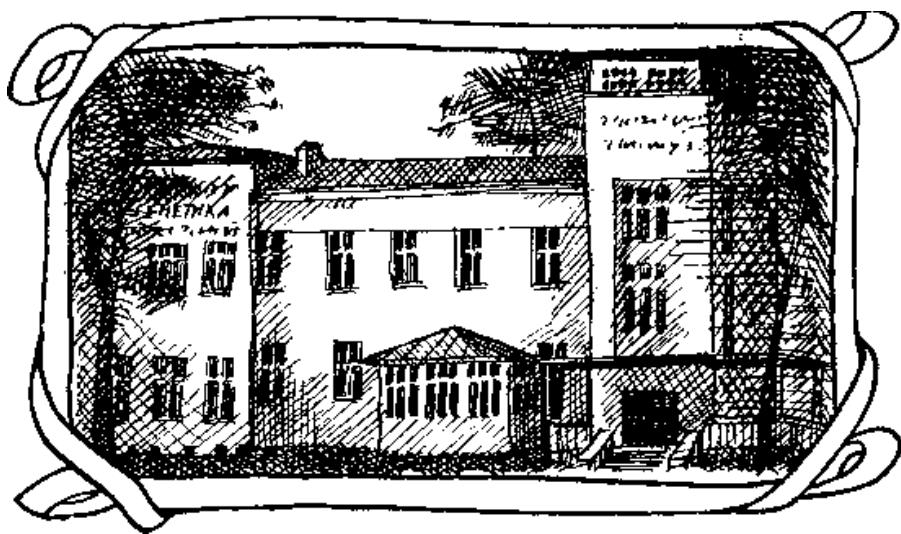
Ему так и не удалось стать стариком: его энергии, молодому задору мог позавидовать любой юноша. В 75 лет он получил от своих сотрудников диплом "мастера городкового цеха", как бессменный глава их институтской команды. И десять лет спустя все так же упруга, несмотря на хромоту после перелома ноги, была его пробежка, точен глаз, сильна левая, главная рука. Все так же восторженно и звонко кричал он, приветствуя удачный удар игрока своей команды.

— Звезда! Звезда!

И так же приходил в неистовое отчаяние и гнев, ежели кому-то случалось промазать:

— Квашня! Да у вас бабий замах! Вас в богадельню, сударь!

Поистине неистощимо было буйство этой многогранной натуры. И вернее всех определила его нрав наблюдавшая полвека за Иваном Петровичем изо дня в день Серафима Васильевна. Она назвала это необыкновенное свойство "кипением сердца".



СТОЛИЦА УСЛОВНЫХ РЕФЛЕКСОВ

В Военно-медицинской императорской академии существовало правило, неукоснительно соблюдавшееся: после 25 лет службы профессора увольняли за выслугою лет. В редких исключениях этот срок продляли еще на пять лет. В 1905 году

Иван Петрович Павлов тоже оказался на роковом рубеже. Но для "великого физиолога земли российской" было сделано невиданное исключение. Конференция академии ходатайствовала об "оставлении И. П. Павлова профессором", предоставив определить срок самому Ивану Петровичу.

Так И. П. Павлов остался "пожизненным профессором". Работа его развertyвалась все шире. В академии построили новое помещение для его кафедры. Это было красивое двухэтажное здание в Ломанском переулке. Просторный вестибюль, широкая лестница с огромным, выходившим на юг окном.

Бельэтаж занимали лаборатории и операционные. Кабинет Ивана Петровича и аудитория для лекций размещались на втором этаже. В операционной две стены были почти сплошь стеклянные. Она занимала угловое помещение и находилась в стороне от лабораторий. Во дворе построили большой виварий для собак. Все было сделано с размахом, по последнему слову науки. А лучшим украшением кабинета профессора И. П. Павлова была большая фотография "отца русской физиологии" И. М. Сеченова, подаренная его женой. Это был поистине бесценный дар.

"Я в высшей степени рад получить портрет Ивана Михайловича... Кому же, как не ему, начавшему нашу родную физиологию, начавшему ее именно в Академии и оставившему своим ученым и учительским образом в своих учениках неизгладимое впечатление буквально на всю жизнь, занимать первое место на стенах теперешней физиологической академической лаборатории? Этот портрет составит самое лучшее и самое дорогое ее украшение".

Обновленная кафедра физиологии стала лучшей в Европе. Не только по уровню работ, но и по оборудованию. Это признавали сами европейские ученые.

Но павловская мысль обгоняла реальные дела. Ему мало достигнутого. Профессор И. П. Павлов задумал построить совсем особую лабораторию: где бы подопытные животные были полностью изолированы от посторонних звуков, шумов, запахов, отвлекающих их внимание и влияющих на выработку условных рефлексов. Однако императорская казна не располагала средствами для строительства. А принц А. П. Ольденбургский к тому же опасался, что при этом будет испорчен пейзаж вокруг его института.

"Институт должен славиться не своими лужайками и видами, а научными учреждениями, — писал ему в докладных профессор И. П. Павлов. — А я ручаюсь, что проектируемая лаборатория и сама по себе, и тем, что из нее выйдет, немало прибавит к научной репутации нашего Института".

В конце концов принца-попечителя удалось уговорить, но денег-то все равно не было. И тогда Иван Петрович решил обратиться в благотворительное Общество содействия успехам опытных наук, основанное на средства, завещанные купцом Х. С. Леденцовым, с просьбой о материальной помощи. Ведь речь шла не о нем самом, а о его любимой науке — тут И. П. Павлов был готов на все.

Он пришел на заседание общества и произнес пламенную речь о необходимости такой новейшей лаборатории. Средства были отпущены, и строительство "башни молчания", как стали ее называть, хоть и неспешно, но началось.

Это была гордость Ивана Петровича. Здесь воплотились все его самые сокровенные мечты. Трехэтажное квадратное здание было окружено глубоким рвом, чтобы его стенам не передавались колебания почвы, "причиняемые проездом экипажей, телег и автомобилей". Внутри оно разделено крестовидным коридором, образующим в каждом этаже по четыре изолированные комнаты. На двух противоположных сторонах к основному корпусу приделаны полубашни, в них — выход во двор и лестница, ведущая во все этажи. Каждая изолированная комната сообщается с этой полубашней, так же как и крестовидный коридор. Таким образом, вход в каждую комнату обособлен. Средний этаж — без рабочих помещений, он лишь разделяет верхний и нижний.

Всех экспериментальных комнат — восемь. В каждой из них в одном из углов устроена камера из особых не проводящих звуков материалов. Здесь находится животное во время эксперимента. Наблюдение за ним ведется из наружной комнаты. Экспериментатор со специального пульта подает разные звуковые и световые сигналы и в окошко наблюдает за их действием на собаку, которая его не видит: она изолирована не только от посторонних помех, но и от самого наблюдателя.

Строительство "башни молчания" удалось закончить только при Советской власти. Денег купца едва хватило на три звуконепроницаемые камеры. Да и те строились чуть не пять лет.

Тем временем Ивана Петровича Павлова избрали академиком Петербургской Академии наук. "С избранием И. П. Павлова наша академия приобретет в свою среду сочлена, которым она может вполне гордиться", — было написано в представлении. Общее собрание академии единодушно подтвердило мнение группы академиков, рекомендовавших профессора И. П. Павлова. Но мало кто знал, что Иван Петрович поставил перед Академией наук определенное условие: следующее ему содержание выплачивать "молодому талантливому работнику"! — Георгию Павловичу Зелёному, который был им привлечен к работе в

академической лаборатории. Лаборатория была так мала и стеснена в средствах, что без этой дотации просто не смогла бы существовать. Лишь при Советском правительстве физиологическая лаборатория Академии наук была преобразована в институт, которому отвели большое здание на Тучковой набережной, где раньше размещался музей Л. Н. Толстого.

Избрание академиком никак не повлияло на образ жизни И. П. Павлова. Как и прежде, он нередко добирался до всех своих — теперь уже трех — рабочих мест пешком или на конке, которую позже сменил трамвай. По Кронверкскому проспекту и Дворянской улице через Сампсониевский мост конка привозила его в Военно-медицинскую академию. В Институт экспериментальной медицины на Лопухинскую он ехал по Каменноостровскому проспекту другой конкой. А на Тучкову набережную ходил пешком.

Домой к нему мог прийти любой сотрудник или студент, ежели находилось дело. Просто в гости по будням к И. П. Павловым не ходили. Гостей принимали лишь по праздникам. Пришедшего по делу радушно встречали, угощали вкусным чаем с ржаным хлебом и украинским салом.

В квартире — никакого богатства (кроме картин): дубовый старомодный буфет, такой же книжный шкаф, тяжелые, литые из металла кровати. Сам профессор одет скромно, без претензий.

У Ивана Петровича была какая-то особая неприязнь к барству, подчеркнутому аристократизму. Он так и остался навсегда тем разночинцем, которым приехал когда-то в Петербург из своей провинциальной Рязани. Его почти не трогали материальные трудности. Империалистическая война и последовавшая за ней разруха мешали ему только тем, что большинство сотрудников мобилизовали на фронт и некому было проводить опыты. Да и подопытных собак теперь не хватало — экая досада! Столько надо сделать — как все успеть?

Не было дров, лаборатории не отапливались — он работал в пальто и шапке. Не было электричества — оперировал при лучине. Недоставало продуктов семье — вскопал участок земли, отведенный ему, как и всем сотрудникам, на территории ИЭМа. Благо институт помещался на бывшей даче принца-попечителя и свободной земли хватало. И собственноручно (старшему сыну доверял только дежурить на огороде по ночам) вырастил картошку и капусту, да еще какого-то диковинного сорта. И — можете не сомневаться — он в этом соревновании стал победителем. Огород академика И. П. Павлова был самым лучшим: "Стыдно, милостивый государь, не найти в себе силы

вырастить овощи".

Но и когда позже Советское правительство предлагало выбрать любое место в Союзе, чтобы там построить ему дачу, он отказался: "Зачем? Мне и в моей деревне хорошо". Ему выписали из Америки роскошный лимузин "форд", а потом предложили заменить на еще более совершенную новинку "линкольн". Он удивился: "Машина у меня есть. К роскоши я никогда не стремился. Да и к чему это? Нет, нет!"

Никогда ничего не покупал себе сам. Серафиме Васильевне приходилось почти насильно приобретать ему необходимую одежду. Даже карманных денег никогда не держал. И когда однажды заграничная машина поломалась в дороге и Ивану Петровичу пришлось пересест в автобус, у него не оказалось мелочи на проезд. Очень недовольный, он сердито сказал встречавшему его сыну: "Заплати за меня — я ехал зайцем".

Можно представить, какую бурю негодования у бессребреника И. П. Павлова вызвало предложение его давнего приятеля "пустить часть Нобелевской премии на биржевую коммерцию". Иван Петрович, говорят, даже ногами затопал на незадачливого коммерсанта: "Эти деньги я заработал непрерывным научным трудом, а наука никогда не имела и не будет иметь ничего общего с биржей!"

Научные дела продолжали развиваться. Институт экспериментальной медицины получил за городом недалеко от деревни Колтуши место для собачьего питомника. Здесь находилась конюшня и старое деревянное здание в два этажа.

Иван Петрович выделял на питомник средства из бюджета лаборатории, подробно вникал в хозяйственные дела, но сам там еще ни разу не был. А тут что-то уж очень напряженная была работа, видно было: устал, надо бы ненадолго обстановку переменить. Ближайшие сотрудники и посоветовали ему съездить на несколько дней в Колтуши.

Ранним июльским утром трое участников поездки встретились на Финляндском вокзале. Иван Петрович приехал на трамвае, и, разумеется, без малейшего опоздания. По его просьбе о поездке никому особо не объявляли, даже директора не предупредили. Так и ехали в набитом поезде, даже стоять в проходе пришлось, а дальше отправились пешком.

Шли по шоссе. И один из сотрудников, что был с И. П. Павловым, взглянув на придорожный столб, сказал, что прошли они два километра, а осталось ровно восемь. Иван Петрович тут же достал часы и стал отмечать время ходьбы, стараясь незаметно ускорить шаг. Ему непременно хотелось идти в более быстром темпе.

Свернув с шоссе, поднялись на горку и, пройдя деревню, вышли на заросшую травой дорогу. Солнце поднялось уже высоко. Зеленели поля, аромат полевых цветов наполнял воздух... Иван Петрович остановился, широко распахнул руки: "Как хорошо, как хорошо!"

Наконец добрались до места. Тут бы и отдохнуть после утомительной дороги и длинного пешего перехода, а не тут-то было. Иван Петрович с ходу затеял игру в городки, наскоро изготовив палки и рюшки.

Во время игры он насмехался над соперниками из другой команды, дразнил их, делал язвительные замечания, пугал мрачными предсказаниями, изо всех сил стараясь, чтобы у них "упал дух".

"Противника надо уничтожить всеми средствами", — говорил он. И само собой "уничтожил", его команда победила. На двери комнаты, где его поместили, прибили дощечку с шуточной надписью: "Здесь жил чемпион мира, академик Иван Павлов, президент Силломьяжской городковой академии, победоносно сражавшийся и на местном стадионе".

Это было в июле 1924 года. Академику И. П. Павлову исполнилось семьдесят пять лет.

Колтуши ему очень понравились. Он решил организовать здесь загородную научную станцию, которая превратилась затем в целый научный городок — "столицу условных рефлексов", как стали его называть. Павловские Колтуши — прототип современной Дубны под Москвой, Протвина под Серпуховом, Пущина на Оке, академгородка под Новосибирском. Тогда это было в новинку.

И тем более надо ценить, какой самоотверженности потребовало от молодого Советского государства строительство такого научного центра. Дорого стоил в годы разрухи и только-только начинавшегося восстановления тот миллион, который правительство выделило на павловскую науку. Но ведь наука теперь не зависела от щедрот принца или от размеров кошелька купца-благотворителя. Наука принадлежала государству, и государство взяло на себя заботу о ней.

В Колтушах построили удобные коттеджи для сотрудников, главное здание лаборатории. Иван Петрович лично следил за ходом строительства, торопил проектировщиков, хозяйственников, стараясь учесть все особенности будущей научной работы.

Сам он теперь лето вместе с семьей проводил только здесь. Академику И. П. Павлову вполне хватало комнат на втором этаже старой деревянной постройки и небольшой, застекленной с трех

сторон террасы. Неудобный, коротковатый, жесткий, с деревянными ручками диванчик — любимое место отдыха, а терраса с огненно-рыжими настурциями — столь же любимое место работы.

Именно здесь художник М. В. Нестеров писал его первый портрет. И именно эту "дачу" Иван Петрович предпочел всем другим виллам, щедро предлагаемым ему народным правительством.

Позже для него и его семьи здесь построили просторный дом. Но он больше всего ценил, что возле был сад, огород и пчельник. И в восемьдесят пять лет он неизменно изо дня в день работал в саду два часа до завтрака и два до обеда. Сам сажал кусты на территории городка.

Вечерами забирался на вышку, к своему телескопу, и подолгу рассматривал ночное небо."...Перебрался в Кол-туши, доволен ими чрезвычайно. Гуляю по полям как ошалелый от удовольствия: тихо, никого нет, далекий приятный горизонт, поют жаворонки... купаюсь регулярно. Играем в городки, но умеренно и не каждый день, так как иногда партнеров нет".

Ему все больше нравилась его "столица" — осуществленная мечта, кровное детище. "Было трогательно видеть, как 85-летний ученый с таким воодушевлением приступает к работе, результаты которой могут быть получены лишь через десяток лет", — писал его сотрудник Н. К. Кольцов.

Но Иван Петрович не чувствовал старости. Он был весь в делах и заботах. И новым планам не было конца.

Однако все могло сложиться совсем иначе, если бы в трудные годы становления народного государства академик И. П. Павлов сделал неправильный выбор. Это был один из важнейших жизненных рубежей между прошлым и будущим, преодолеть который удалось не всем. И. П. Павлов шагнул в будущее со свойственной ему решительностью и сделал это так же своеобразно, как поступал всегда.

Промозглым зимним днем 1921 года в Институт экспериментальной медицины в Петрограде прибыла "Комиссия помощи профессору Ивану Петровичу Павлову", чтобы узнать о нуждах известного ученого.

— Собак нужно, собак! — с горячностью сказал он. — Положение такое, что хоть сам бегай по улице, лови их! Весьма подозреваю, что мои сотрудники так и делают! Сена нужен хороший воз, — деловито перечислял ученый. — Нужно бы и овса. Лошадей штуки три: хромые, раненые — неважно. Лишь бы можно получить сыворотку из их крови.

В помещении было так же холодно, как на улице. На Иване Петровиче — толстое пальто, валяные ботинки, зимняя шапка с длинными ушами.

— У вас, видимо, дров нет?

— Да, да! Дров нет.

Академик Павлов улыбнулся, глаза молодо сверкнули:

— Говорят, теперь не дома отапливаются печами, а печи — домами. Но вот беда: деревянных домов тут близко нет. Дров давайте, если можно.

На предложение удвоить ему паек возмущенно тряхнул седой бородой, кустистые брови сурово сошлись на переносье:

— Нет, нет, давайте, как всем, не больше... Продукты надо расходовать бережно. Слышно: какой-то дурак лезет на Петербург? Вот видите...

Представители власти давались диву: когда дело касалось научной работы, академик был требователен и настойчив. От помощи же персонально ему отказывался наотрез. И это в то время, когда хлеба выдавали каких-нибудь 50—100 граммов в день, да и то часто несъедобного. А обед в столовой состоял большей частью из травяного супа и ржавой селедки или просяной каши. А ведь некоторые его коллеги в столовой Дома ученых тяжело вздыхали или уныло качали головой при виде малокалорийного супа и сухой каши.

Иван Петрович Павлов не принадлежал к числу нытиков. Семидесятилетнего ученого волновала только возможность продолжать работу: лишь бы не остановиться в научном поиске, не прерывать исследований.

Год назад у него в лаборатории побывал Герберт Уэллс. Английский писатель пришел в ужас от российской

действительности. Он не видел ничего светлого впереди, страна представлялась ему "потонувшей во мгле". Но встреча с учеными, "изнуренными заботой и лишениями", потрясла его:

"Они задали мне великое множество вопросов о последних достижениях науки за пределами России, и мне стало стыдно за свое ужасающее невежество в этих делах... У них нет новой аппаратуры, не хватает писчей бумаги, лаборатории не отапливаются, удивительно, что они вообще что-то делают. И все же они успешно работают... Дух науки — поистине изумительный дух. Если этой зимой Петроград погибнет от голода, погибнут и члены Дома ученых... однако они почти не заговаривали со мной о возможности присылки им продовольствия... Все они страстно желают получить научную литературу; знания им дороже хлеба... Павлов все еще продолжает свои замечательные исследования — в старом пальто, в кабинете, заваленном картофелем и морковью, которые он выращивает в свободное время".

Академии наук Германии, Чехословакии, Америки приглашали И. П. Павлова к себе, сулили материальные блага, неограниченные средства для научных исследований. Знакомые, покинувшие Россию, звали его за границу, соблазняя сытой, спокойной жизнью, без "всяких переворотов и революций".

Иван Петрович не был политиком, он целиком был погружен в свою науку. Однако заниматься только наукой, отрешась от событий в стране, было невозможно, да и характер не позволял относиться равнодушно к происходящему. Война 1914 года резко сказалась на научной работе: большинство сотрудников ушли на фронт, ставить опыты было некому. Профессор И. П. Павлов неприкаянно бродил по опустевшим комнатам.

Он внимательно следил за ходом военных действий, собственноручно переставлял флажки на карте, разражаясь ругательствами, если дела шли плохо. В нем крепло убеждение, что "с этой гнилью нужно кончать. Только революция может спасти Россию. Гнилое правительство, которое довело страну до такого позора, должно быть свергнуто, и иначе, как революцией, ничего сделать нельзя!"

Февраль 1917 года он встретил как очистительную грозу над "свободной, обновляющейся и стремящейся к возможно лучшему на всех линиях жизни родиной". Новый строй жизни давал ему повод "усилить рабочую энергию до высшей степени". Но события усложнились, обострились столкновения между большевиками и эсерами, большевиками и меньшевиками, образовалось Временное правительство, где председательствовал Керенский.

Будучи человеком науки, по его собственному признанию, "с ног до головы", Иван Петрович не все мог сразу верно оценить.

Появление Керенского на политической арене повергло И. П. Павлова в отчаяние: "О, паршивый адвокатишка, такая сопля во главе государства — он же загубит все!" Когда свершились октябрьские события — "еще одна революция?!" — Иван Петрович решил, что России не выдержать: воюющие державы раздерут ее на части.

Но молодая республика устояла: разбили белогвардейцев, дали отпор иностранным интервентам, стали строить новое государство. Профессор И. П. Павлов придирчиво присматривался к происходящему: в науке он привык верить только "господину факту". А факты жизни радовали.

Неустанному труженику, ему было близко и дорого, что "уничтожена дикая пропасть между богатыми и бедными" и общественные блага распределяются теперь по справедливости — каждому по труду. В многонациональной стране установилось подлинное равенство и братство народов — выходец из срединной России, профессор И. П. Павлов был доволен, что именно русский народ впервые в мировой истории так демократично и справедливо решил вековую национальную проблему. Его радовало, что народное правительство уделяет такое большое внимание просвещению самых широких масс, подъему культуры, развитию науки. Этот необычный "социальный эксперимент" вызывал в И. П. Павлове все больший энтузиазм, хотя, как любил он повторять, "я не социалист и не коммунист".

Он внимательно приглядывался к Владимиру Ильичу. И пришел к выводу, что Ленин — "великий ученый, умный политический деятель и честнейший человек". Мерилом ума и величия человека И. П. Павлов считал умение разбираться в сложных, запутанных ситуациях и соответственно этому действовать.

Владимир Ильич, по мнению И. П. Павлова, правильно сориентировался в непростой обстановке после февральского переворота и вопреки яростному сопротивлению многих организовал и успешно завершил Октябрьскую революцию. И столь же правильно, считал И. П. Павлов, Владимир Ильич разобрался в тяжелом экономическом положении страны, значительно подорванном мировой войной, иностранной интервенцией и гражданской войной. И опять-таки произвел коренную ломку, на этот раз экономики, несмотря на противодействие даже своих соратников, и "тем самым спас страну от нависшей грозной катастрофы".

Владимир Ильич был в глазах профессора И. П. Павлова не просто политиком, а подлинным ученым, хотя и занимался "какой-то химией социальной". У И. П. Павлова крепло

убеждение, что если кто и поймет нужды его науки, то именно он. И Иван Петрович написал письмо В. И. Ленину о бедах своих лабораторий.

Это было в январе 1921 года. Тогда же Владимир Ильич пригласил в Кремль для беседы А. М. Горького, работавшего в то время в Центральной комиссии улучшения быта ученых, созданной Советским правительством в первые же годы после революции, — учреждении, которым, по словам Алексея Максимовича, "рабочий класс, хозяин страны имеет законное право гордиться перед Европами".

А в начале февраля в "Известиях" было опубликовано постановление Совета Народных Комиссаров о создании благоприятных условий для обеспечения научной работы И. П. Павлова, "как совершенно исключительной, имеющей огромное значение для трудящихся всего мира". Подписано оно было лично Владимиром Ильичем Лениным. Возглавлял прибывшую в лабораторию комиссию Алексей Максимович Горький. В нелегкие для молодой республики годы из бюджета была выкроена немалая доля на павловскую науку.

Спустя два года Иван Петрович писал за границу своим знакомым: "Моя работа разворачивается в широких масштабах. У меня собралось много работников, и я не в состоянии принять всех желающих". Ученый вновь был полон энергии: исследования продолжались, правительство оказывало ему всемерную поддержку, и он все силы отдавал любимой своей науке, желая оправдать доверие социалистического государства.

Посмотреть его лабораторию, познакомиться с работой приезжали видные зарубежные ученые.

"Незабываемым остается день, — писал известный американский физиолог У. Б. Кеннон, — проведенный с Павловым в окрестностях Ленинграда, в громадных новых зданиях института, построенных Советским правительством для продолжения его экспериментальных работ".

Приехал еще раз и Герберт Уэллс — его мрачные предвидения не оправдались. За полтора десятка лет, что прошли со времени его первого посещения России, страна прошла гигантский путь. Он ничего не мог узнать и честно признался:

"Исследования, которые ведутся в новом Институте физиологии Павлова под Ленинградом, — одни из самых значительных в мире. Эта репутация Павлова способствует престижу Советского Союза, который обеспечивает его всем необходимым для научных работ. Я нашел, что старик прекрасно себя чувствует..."

Состоялась встреча и с Алексеем Максимовичем Горьким —

на этот раз в просторной академической квартире в центре Ленинграда.

— Помните, Иван Петрович, нашу встречу лет десять назад? Мы говорили о сене, о дровах... А теперь в чем-либо недостаток терпите?

— Нет, теперь, слава богу, все вернулось к норме. Чрезвычайные внешние затруднения как будто окончились.

Алексей Максимович оглядывается по сторонам. Он удивлен — все стены увешаны картинами, как будто он пришел в гости к художнику.

— Идя к ученому, ожидаешь увидеть книги, а у вас нет уголка без картин.

— Это моя страсть. Мне довелось испытать все формы коллекционерства. Собирал марки, собирал бабочек, собирал картины... Вот моя любовь... — Иван Петрович повернулся к большой, в четверть стены, картине А. Васнецова "Три богатыря": — Какая мощь! Три русских богатыря! Русь! А? Ведь в них все мечты нашего народа. Муромец защитил нашу землю от татар. Добрыня — от Батыра. Алеша победил Тугарина Змеевича — азиатских кочевников... Разве это не мечта русского народа — бороться с врагами, не пускать их к себе. А? Алексей Максимович?

А. М. Горький протянул Павлову руку:

— Вот, Иван Петрович, это то, за что вас любит наш народ. Он инстинктивно чувствует, что вы свой, до мозга костей свой, что вы живете тоже для своей страны...

— Жизнь только того красна и сильна, кто стремится к постоянно достигаемой, но никогда недостижимой цели. Ведь коллекционировать можно все: и удобства жизни — это делают практики, и хорошие законы — это делают государственные люди, и познания — образованные люди, и научные открытия — ученые, и добродетели — люди высокой души...

Когда Алексей Максимович уже стоял в прихожей и тщательно застегивал пуговицы своей теплой шубы, восьмидесятидвухлетний ученый, взглянув на него, вдруг засмеялся:

— Вы же юноша! Лет двадцать разницы. А я круглый год вот в этом. — Он показал на демисезонное пальто.

НЕУВЯДАЮЩИЙ ИНТЕРЕС ЖИТЬ

В "железном" распорядке дня и всей рабочей недели были у Ивана Петровича неприкосновенные дни и часы. Как бы много ни накапливалось дел, какими бы срочными они ни были, каждый вторник послеобеденное время занимать ничем было нельзя. Одно только приближение вторника приводило Ивана Петровича в приподнятое настроение: это время отводилось для "мышечной радости".

"Бодрость физическая является необходимым условием умственной энергии, — говорил он, — что за богатое самоощущение, настроение получается во время и после гимнастики".

И. П. Павлов организовал "кружок любителей гимнастики и велосипедной езды" и в течение нескольких десятков лет был самым активным его членом.

Очень часто он приводил и своих сыновей, тогда еще учеников низших классов гимназии.

Занятия проводились вначале в манеже Адмиралтейства у Дворцового моста, затем в манеже цирка и под конец в зале немецкой гимназии на Кирочной. С легкой руки Ивана Петровича все участники получали разное "звание" в зависимости от прилежности посещений. Самые старательные и усердные относились к почетным "столпам", а нерадивые награждались позорным званием "щепки" или "хлама".

Эти дни вечерней гимнастики были и вечерами отдыха, забавы, неистощимого веселья, зачинщиком которого, конечно же, был самый главный "столп" — профессор И. П. Павлов. Когда кто-нибудь не мог хотя бы немного продержаться на трапеции на согнутых руках или закинуть ноги назад на параллельных брусьях, Иван Петрович "смеялся до упаду". Но никто не обижался на его искренний, по-детски непосредственный смех.

Сам он был превосходным гимнастом, отличался необыкновенной силой рук и был чуть ли не единственным, кто мог в висающем положении, на одних руках перебраться через весь зал по укрепленной горизонтально лестнице. Но при прыжках в высоту иногда "срезал веревочку". Тогда поднимался "всеобщий гам и свист". Кружковцы не упускали момента, чтобы сквитаться со своим "столпом". Так что не только "мышечной радостью" заряжались на гимнастических занятиях.

А Иван Петрович выносил с физкультурных вторников и еще нечто важное — он постоянно прислушивался к собственному организму, наблюдал за ним. Профессор И. П. Павлов и свой собственный организм включил в орбиту научных исследований.

Академик П. К. Анохин — бывший его ученик — писал:

"Одной из характерных черт Ивана Петровича как

исследователя являлось увлечение научным анализом собственных ощущений, здоровья и явлений, происходящих в его собственном теле. Он находил возможность анализировать любое свое переживание. И чем острее и опаснее оно было, тем с большим упорством и настойчивостью он пытался понять его механизмы".

Не зря, видно, Алексей Максимович Горький сказал про И. П. Павлова: "Он изумительно целостное существо, созданное природой как бы для познания самой себя". Этот поразительный человек изобрел еще один способ извлекать научную истину: и отдыхая, он работал, наблюдал, если не за другими, то за самим собой. Наблюдательность (столь горячо проповедуемая им, что на главном лабораторном здании в Колтушах по его указанию было начертано трижды повторенное именно это слово) стала его второй натурой.

Ничто не ускользало от его пристального внимания. В какой бы обстановке ни находился, он всегда оставался исследователем. На "средах", обсуждая с сотрудниками те или иные психологические проблемы, работу нервной системы, он очень охотно приводил примеры из собственного опыта. В сохранившихся стенограммах можно прочесть, как И. П. Павлов по ходу разговора вдруг примется рассказывать о том, как он, засыпая, отгоняет мешающие ему образы. Как по утрам, когда он старается, одеваясь, не шуметь, у него возникают звуковые иллюзии — все производимые им шумы как бы усиливаются и кажутся необыкновенно громкими.

Или как он преодолевает сложившиеся формы поведения, устоявшийся стереотип: "Да я вот даже о себе скажу... Всякий раз перед новой заграничной поездкой, когда, натурально, все твое налаженное, привычное летит к черту, ужасную испытываю тяжесть... Прямо-таки преодолевать приходится... А также и в начале пути. Ну а потом ничего..."

А уж детство и юность давали ему просто неисчерпаемый материал для сравнения, анализа. Иван Петрович любил вспоминать случаи из своей молодости и очень образно, мастерски рассказывал о былом. На "средах" все с нетерпением ждали момента, когда он разговорится и начнет анализировать собственные поступки и ощущения.

Жизнелюбивый, деятельный, он очень не хотел стариться. Старость вообще считал ошибкой природы (ведь все в природе каждый год обновляется — почему же человеку это не дано?). Часто повторял: "Постараюсь дожить до ста лет! Буду драться за это".

"Хотя старость нельзя считать приятностью, — говорил он, —

она много с собой приносит недостатков, но я из нее желаю извлечь какую-нибудь пользу. Ясно, что в связи с изучением нервной системы я постоянно смотрю на то, что мне лично приносит старость... Одним из первых проявлений старения является беспамятность в отношении недавних своих впечатлений".

"Да, как все-таки снизилась у меня реактивность коры, — рассуждал он в другой раз. — Я теперь многое понял с этим постарением. Теперь, если я прихожу в кабинет, то вижу только у себя под носом, сузилось поле внимания... Постоянная сконцентрированность мыслей — вот это и есть рассеянность так называемая".

Но и на свою память, и на реакции, и на подвижность Иван Петрович наговаривал лишнего. Все, кто с ним общался в это время, в один голос твердят о его неиссякаемой юношеской энергии и столь же молодом уме. Собираясь рисовать его, восьмидесятилетнего, художник М. В. Нестеров приехал на несколько недель в Колтуши. Утром за чаепитием начинались обычно оживленные разговоры. "Бывали импровизированные, блестящие лекции по любым предметам, — вспоминал он. — Я наблюдал, старался уяснить себе мою трудную, столь необычную модель. Светлый ум Ивана Петровича ничем не был затемнен: говорил ли он о биологии, вообще на научные темы или о литературе, о жизни, — всегда говорил ярко, образно и убежденно... мнения свои выражал горячо, отстаивал их с юношеским пылом".

А когда Ивану Петровичу исполнилось восемьдесят пять и художник подарил ему написанный раньше портрет, И. П. Павлов поблагодарил М. В. Нестерова за "теплый привет" и подарок такими удивительными словами: "Счастлив, что и в старые, конечно, застывающие годы могу еще внушить к себе живые дружеские чувства. Дай Вам бог еще находить радость в Вашей художественной творческой работе, как я все еще в моей научной работе переживаю неувядающий интерес жить".

Жить Ивану Петровичу оставалось чуть больше года. Но прожил он их так же деятельно, как и всю предыдущую жизнь. И с тем же "неувядающим интересом", так и не перестав работать. Он и самое смерть (случай поистине уникальный!) умудрился превратить в источник научных исследований. До последних минут этот поразительный человек оставался ученым: диктовал свои наблюдения за затухающей деятельностью мозга, обсуждал собственные ощущения с невропатологом и нетерпеливо — как бывало всегда, если ему не давали работать, — кричал вошедшей медицинской сестре: "Не мешайте! Павлову некогда — Павлов

умирает!.."

В его смерть, хотя и произошла она на 87-м году, всем знавшим его было трудно поверить. Ведь он был здоров и до краев полон жизни. Болезни вообще обошли его стороной, хотя именно в пожилом возрасте с ним случились две неприятности. Один раз, торопясь в институт, академик не захотел, как все, обходить канавы, которыми перерывали Лопухинскую улицу, и стал просто перепрыгивать через них. Поскользнулся, упал и сломал ногу. С трудом выбрался из канавы (это со сломанной ногой), подтянулся на руках — вот когда пригодилась деть дома. Я мог при этом кое-что читать и писать, но кончилось тем, что пришлось бросить и эту работу.

Конечно, врачи прописывали мне всякие лекарства и назначали диету, т. е. делали распоряжения насчет моей еды, но ничто не помогало. Еду я ограничивал сперва в сортах пищи, затем в количестве, а в конце концов вынужден был оставаться почти без пищи. Можно было подумать, что вопрос стоит так: жить мне или не жить...

Пять недель назад мне сделали операцию. Хирурги вскрыли мне под наркозом брюшную полость и нашли там один предмет — маленький, твердый, легкий шарик, вроде высушенной, большой, немного шероховатой горошины. Найдя его, они вынули его из брюшной полости. Затем забота врачей заключалась в том, чтобы вылечить мне рану...

Через десять дней после операции уже здесь, в больнице, я почувствовал, что болезнь моя уничтожена и я буду жить. И вот когда я это почувствовал, то вполне естественно, что я стал думать, кому же я должен за свою жизнь, кто мои благодетели? Это совершенно натуральное чувство благодарности, когда получаешь такое чрезвычайное одолжение.

По мере того как я над этим думал, убеждался, что ответить на это вовсе не так просто... Если глубже взглянуть на дело и рассказать о всех тех, кому я действительно обязан своей жизнью, то это оказывается очень длинная история, которая занимает тысячелетия.

Для того чтобы всем было все понятно, я должен сообщить вам некоторые сведения о своей болезни, а для этого я прежде всего должен немного ознакомить вас с устройством нашего тела, специально с тем отделом, который называется пищеварительным каналом.

...В пищеварительном канале пища перерабатывается и превращается в жидкость. В таком жидком виде ее составные части входят через стенки кишок внутрь нашего тела и поступают в кровь. Часть поступивших веществ идет на то, чтобы

ремонтировать наше тело, строить из них ткани и органы. Часть же этих веществ используется как топливо, как энергия для того, чтобы мы могли двигаться и производить работу.

Чтобы нужные вещества перешли в растворенное состояние, на пищу изливаются жидкости, которые называются пищеварительными соками. Эти соки сочатся из стенок желудка и кишок. Частью же берутся из органов, которые лежат отдельно, вне пищеварительного канала. Таких органов два: с одной стороны — печень, а с другой — поджелудочная железа. Поджелудочная железа дает поджелудочный сок, а печень — желчь, которая через небольшую трубку — желчный проток — изливается в кишечник и действует там на пищу. Желчь имеет очень важное значение для переработки пищи. Многие вещества, например жиры, в отсутствие желчи не могут всасываться и служить телу, а выбрасываются вон...

Так вот, моя болезнь заключалась в том, что в трубке, по которой желчь течет в кишечник, образовался камень. Этот камень двигался в протоке и запирали выход желчи в кишечник...

Мои товарищи врачи догадались о моей болезни по различным признакам. У меня были припадки болей, я стал желтеть, так как желчь не выливалась в кишки, а всасывалась в кровь и вызывала пожелтение всего тела. Они вскрыли брюшную полость, дошли до этой трубочки, увидели, что она в одном месте ненормально расширена, прощупали через стенку твердый предмет, сделали разрез и вынули камень. Дело как будто чрезвычайно простое. И может казаться, что я должен благодарить за свое излечение только медицинский персонал.

Но я хочу пойти дальше и упомянуть первыми других благодетелей, которых обычно забывают, несмотря на то, что они и до сих пор помогают всем больным.

Прежде всего надо было заметить ту болезнь, которой я страдал. Эту болезнь заметил один величайший человек древности, врач старого греческого государства. Среди массы болезней он заметил и эту болезнь, когда в правом подреберье начинаются боли, иногда жесточайшие, затем расстраивается пищеварение и, наконец, начинается желтуха. Этот врач впервые описал эту болезнь, но для того, чтобы понять сущность болезни, надо было узнать, как устроено наше тело и как оно работает.

Это ознакомление растянулось почти на две с половиной тысячи лет. Иногда проходили сотни лет, прежде чем какой-нибудь и всегда очень крупный ученый прибавлял что-либо новое к уже имеющемуся знанию. Что касается изучения того органа, который болел у меня, то сначала узнали, что печень вырабатывает желчь... Затем другой врач изучил, что от печени

идут трубочки, по которым желчь изливается в кишечник. Затем, так приблизительно лет 300–400 назад, находят, что в этих трубочках попадают камни. Спустя еще 100 лет догадываются, что эти камни могут быть вредны тем, что они запирают эту трубочку.

Тогда делаются пробы, чтобы эти камушки вынуть. В течение столетий такие операции делали лишь отдельные люди, и лишь в последнее время это стало общим достоянием тех врачей, которые называются хирургами.

Таким образом, вы видите, что для того, чтобы мне уцелеть и сохранить свою жизнь, должно было пройти 2000 лет с лишним, на протяжении которых усилиями врачей собирались необходимые знания об устройстве человеческого тела, о работе органов пищеварительного канала, об их заболевании и лечении. Всех этих людей я должен включить в число моих благодетелей и всех их благодарить.

Все это несомненно так, но и это не все. Только теперешние врачи могли отважиться сделать мне такую операцию. Ведь если меня резать в мои 78 лет так, как это делали хирурги лет 200 тому назад, то я бы остался на столе. Мало было знать мою болезнь, надо было еще придумать средство, чтобы больной, когда ему делают операцию, когда его режут, не испытывал бы страшных болей. Без этого не все больные выдерживали мучения, связанные с тяжелыми операциями. Следовательно, я должен благодарить тех, кто нашел средства, лишаящие человека чувства боли. Это произошло только 90—100 лет назад...

Но и этого мало... Сколько раз отличные операции делали самые искусные операторы и приходили потом в отчаянье. Они, казалось, сделали все, что нужно, приложили все свое искусство, а тем не менее больной после операции умирал...

Вы знаете, что мы окружены с вами невидимыми врагами — микроорганизмами. Эти существа так малы, что мы их не видим, но мы ими пронизаны. Когда режется наше тело и получают ранения, они сейчас же впадают в раны, размножаются в них и частью вредными газами, частью ядовитыми веществами, которые из них выходят, убивают человека.

Потребовались чрезвычайные работы двух выдающихся ученых — Пастера и Листера, чтобы этого врага обезвредить. Француз Пастер открыл эти существа, невидимых простым глазом микробов, а хирург Листер понял значение этого открытия и догадался применить его в хирургии. Он поставил задачу уничтожить этих невидимых врагов и не допустить их к ране.

...Теперь я поговорю о своих местных благодетелях, о том, какой труд несут врачи и весь медицинский персонал. Врач

должен сначала собрать все сведения относительно разных болезней, научиться отличать их одну от другой. Это огромная задача. Затем надо изучить строение нашего тела и работу различных органов. Потом надо овладеть хирургическим искусством и набить, как говорят, руку с тем, чтобы сделать операцию аккуратно, не резать больше, чем следует и т. д.

Дальше. Хирург, конечно, делает операцию не один, а при участии многих других лиц, ему необходимы помощники. Надо, чтобы эти помощники знали все то, что знает и сам хирург, т. е. помощник должен быть таким же знающим хирургом. Давать наркоз, хлороформировать — это тоже в высшей степени ответственная вещь. Если вы дадите наркоз не в том количестве, не той концентрации, то человек может и умереть. Поэтому отдельный врач, не занятый операцией, должен следить за тем, как идет наркоз, следить за тем, как человек дышит, как у него работает сердце.

Вещество, которое применяется для наркоза, должно быть хорошего качества, и фармацевт, отпускающий это вещество из аптеки, должен проверить это качество и гарантировать чистоту наркотизирующего препарата с тем, чтобы он не оказался вредным.

Дальше идут медицинские сестры. От них тоже зависела моя жизнь. Стоит не очистить как следует инструменты, сделать это недобросовестно, и опять возникает опасность. Надо было выполнять все назначения врача, следить за температурой моего тела.

Дальше идут сиделки и уборщицы. Они тоже мне помогали. После операции мне надо было лежать, то сидеть. Сам я этого сделать не мог. Этому надо было пособлять, и притом с умением, чтобы я не сделал опасного усилия и не разошлась моя рана. Наконец, надо было следить за чистотой моей палаты.

Вы видите, как велико число моих благодетелей, тех людей, которым я обязан своим излечением. Следовательно, вот такая это сложная вещь — сохранить больному человеку жизнь, вот чего это стоит! Вспоминая всех моих благодетелей и выражая им чрезвычайную благодарность, я выполняю сегодня свой естественный долг...

И академик И. П. Павлов поклонился всем присутствующим низким, поясным поклоном.

Незаурядная личность академика И. П. Павлова не укладывалась в рамки, выходила за границы обычного, традиционного. В то же время в последние десять-пятнадцать лет он был очень на виду, занимал исключительное положение в науке, да и не только среди ученых было известно его имя.

Его самобытность, независимый характер, своеобразные поступки вызвали толки и разговоры. Быль и небылицы смешивались, причудливо переплетались, обрастали легендами.

Легенды сопутствуют каждому выдающемуся человеку. Вокруг И. П. Павлова их было особенно много. О некоторых он знал, посмеивался, отшучивался или просто не придавал никакого значения.

В 1921 году его ученик приехал в Голландию и привез голландским физиологам профессорам Цваардемакеру и Эйнтговену письма от Ивана Петровича, который был с ними знаком лично. Это произвело настоящую сенсацию: здесь все думали, что академик И. П. Павлов давно... умер. Во многих газетах были напечатаны некрологи.

— Как? Почему?

— Но ведь в ваших газетах еще в 1916 году сообщалось о смерти великого ученого?!

— Не может быть! Это недоразумение.

Ему показывают русские газеты тех лет. Там действительно написано, что такого-то числа скончался профессор Военно-медицинской академии Павлов: только инициалы другие — Е. В.

Оказывается, у Ивана Петровича был однофамилец. И надо же так случиться, что и работал он с ним в одном научном учреждении. За границей в этих тонкостях не разобрались и поспешили записать академика И. П. Павлова в число отбывших в мир иной.

На ближайшем же общеголландском собрании физиологов письма Ивана Петровича к своим зарубежным коллегам были зачитаны вслух и для большей убедительности показаны на экране в большом зале заседаний.

Ученика Ивана Петровича засыпали вопросами. Все интересовались здоровьем его учителя, над чем он работает, как живет. В печати появились опровержения о смерти И. П. Павлова.

Весть о своей мнимой смерти Иван Петрович Павлов встретил со смехом. А увидев голландскую делегацию в 1935 году на XV Международном конгрессе в Ленинграде, он первое, что сказал им: "Вы уж, наверное, думали, что я умер, а я вот еще живу и к тому же чувствую себя великолепно, несмотря на то, что перенес столько всяческих болезней!"

Другая легенда оказалась более живучей. Она бытовала и после смерти (подлинной) Ивана Петровича. Каким-то непонятным образом распространилось мнение, что академик И. П. Павлов... верит в бога. Нашлись люди, которые будто бы своими глазами видели, как он ходил в церковь. Говорили, что он жертвует деньги на восстановление храмов, вот хоть в тех же Колтушах, где находится его институт. Особенно же часто его будто бы видели в Знаменской церкви в Ленинграде — где теперь станция метро "Площадь Восстания". Шли слухи, что здесь Иван Петрович венчался и до сих пор постоянно бывает и чуть ли даже не читает проповеди.

Но ведь отношение академика И. П. Павлова к религии было хорошо известно. Он не раз и весьма определенно высказывался об этом. Когда однажды его сотрудница не пришла на работу в один из церковных праздников, Иван Петрович на следующий день ядовито поинтересовался:

— Милостивая государыня, почему вы вчера не явились в лабораторию?

— Иван Петрович, ведь вчера был духов день...

— Духов день! И это вы говорите мне, мне, физиологу! Что вы вчера делали дома?

— ...Я ездила за город, каталась на лодке...

— Так вы бы так и говорили, что вам хотелось этого удовольствия, а не валили бы на духов день, который для нас, физиологов, не должен отличаться от всех других дней.

Другой раз, торопясь в лабораторию, он все время наткнулся на студента-медика, который останавливался то перед часовенкой, то перед церковью и истово крестился. Как на грех это была среда, Иван Петрович тут же поставил вопрос о религии на обсуждение.

— Подумайте! Естественник, медик, а молится как богоделка!

Как-то он получил письмо от священника. Тот спрашивал: есть ли среди больших ученых верующие люди?

Иван Петрович отвечал, что сам он неверующий, но среди ученых, даже больших, встречаются люди религиозные. В одном таком случае он имел возможность убедиться лично, присутствуя на торжественном богослужении в Вестминстерском соборе по поводу 200-летия Лондонского королевского общества (так называлась Английская академия наук) рядом со знаменитым химиком Рамзаем.

— Епископ сказал прекрасную речь об отношении науки и религии — все мы с удовольствием ее выслушали. Во время мессы я заинтересовался устройством церкви, ее убранством. Так как рядом со мной стоял Рамзай, я у него спросил, что это такое?

Он ответил. Потом меня еще что-то заинтересовало, я еще раз его спросил, он ответил уже с некоторым неудовольствием. Когда же мне пришлось к нему обратиться в третий раз — он вообще промолчал. Тогда я спросил уже у другого соседа: что это Рамзай такой гордый — не отвечает. А он улыбнулся и сказал: "Какие вы, русские, странные, ведь он молится, весь ушел в молитву, а вы ему мешаете". Вот вам и мировой ученый, материалист, химик, а верит по-своему, отдых находит...

— Признать существование бога, — говорил он в другой беседе, — это предрассудок, абсурд, признак умственной отсталости.

Казалось бы, все ясно. Но слухи упорно ползли: академик И. П. Павлов верит в бога и молится в церкви, не зря ведь он родом из семьи священника, да и сам в семинарии обучался. Кстати сказать, отец Ивана Петровича, к которому сын относился с большим уважением, дослужился до высокого духовного сана и стал главою Рязанской епархии. Дошло до того, что Алексей Максимович Горький, навестив великого физиолога, осторожно спросил:

— Простите, Иван Петрович, я не знаю точно ваших взглядов на религию...

— Ну, ну! Чего там?

— О ваших взглядах говорят самые противоречивые вещи...

— Что ж, все ясно и просто. Тут и мудрить-то нечего. Правда, с этим вопросом меня допекают. Обращаются граждане, обращаются священники, пишут из-за границы. Думаю, многие на меня надеются. Не огорчу ли я их? Но скажу все по совести. Конечно, веру, которую я имел в детстве, я потерял. Как это случилось? Трудно объяснить. Я увлекся естественными науками, так всю жизнь и проработал на этом поприще, имел дело с материей... Человеческий ум ищет причину всего происходящего и, когда доходит до последней причины, — это есть бог. В своем стремлении искать причину всего он доходит до бога.

— Я вас понимаю, Иван Петрович! Вы не верите, но уважаете веру чужих.

— Во-во! Это вы ловко. Уважение — вот где собака зарыта... А вера — это тоже есть нечто, подлежащее изучению. Ведь она тоже в конечном счете развивается из работы мозга...

Один из его учеников старшего поколения, Евгений Михайлович Крепе, как и все, был наслышан о религиозности И. П. Павлова. Он никак не мог понять, как уживается такое противоречие — "последовательное материалистическое понимание душевной жизни, психических явлений с мистической верой в бога, с религиозностью". Однажды после удачного опыта,

когда Иван Петрович явно был в хорошем настроении, ученик решил покончить с сомнениями и, воспользовавшись благоприятной ситуацией, сказал, что хочет задать один вопрос "личного свойства".

Направлявшийся было к двери Иван Петрович живо обернулся и спросил, в чем дело. С максимализмом, свойственным молодости, тот напрямик выложил учителю свои сомнения. Иван Петрович усмехнулся:

— Слушайте, господин хороший, что касается моей религиозности, веры в бога, посещения церкви, то это все неправда, выдумки. Я семинарист и, как большинство семинаристов, уже со школьной скамьи стал безбожником, атеистом. Мне бога не нужно. Но человек не может жить без веры. Он должен во что-нибудь верить... Моя вера — это вера в то, что счастье человечеству дает прогресс науки. Я верю, что человеческий разум и его высшее воплощение — наука — избавят род людской от болезней, от голода, от вражды, уменьшат горе в жизни людей. Эта вера давала и дает мне силы и помогает вести свою работу. Почему многие думают, что я верующий человек, верующий в смысле религиозном? — продолжал Иван Петрович. — Потому, что я выступаю против гонения на церковь, на религию. Я считаю, что нельзя отнимать веру в бога, не заменив ее другой верой. Другую веру приносит людям просвещение, образование, вера в бога сама становится ненужной...

Что значит лишить человека веры — Иван Петрович знал по собственному горькому опыту. Еще со времен семинарии у него был друг Николай Петрович Богоявленский. Он тоже не стал священником, сделался врачом. Как-то он приехал в Петербург, пришел к И. П. Павлову.

— Ты, Иван Петрович, достиг вершин науки, ты постиг работу мозга, вместилища души. Скажи мне, есть ли что-нибудь "по ту сторону"? Что ждет нас после смерти? Тебе одному я поверю.

— Как ты, врач, естествоиспытатель, можешь говорить такие глупости! Умрем, и прах наш подвергнется разложению, распадется на элементы, из которых мы возник-ли. Какую тебе еще загробную жизнь надо?

Друг ничего не сказал, ушел, а на другой день покончил с собой: "Я отнял у него ту веру, что была у него, — мучился Иван Петрович. — А другой веры у него не было..."

Памяти друга И. П. Павлов посвятил свою книгу "Лекции о работе главных пищеварительных желез". Может, из-за этого трагического случая он с такой деликатностью и осторожностью относился впредь к чужой вере. Вот и жену свою не разубеждал,

что бога нет, не запрещал ей ходить в церковь. Впрочем, в церковь он изредка захаживал и сам: "Во-первых, замечательное пение, во-вторых, это воспоминание детства".

Что касается Знаменской церкви, то старостой он там, конечно, не был и никакой особой привязанности к ней не испытывал, так как венчался в Ростове, где жили родители его невесты и куда молодые отправились на летние каникулы, чтобы сыграть свадьбу.

Значит, выдумки, что Иван Петрович там бывал особенно часто?

Каково же было удивление жены его младшего сына, когда уже после кончины Ивана Петровича она зашла сюда и неожиданно увидела человека, спускавшегося с большой церковной книгой с клироса: это был вылитый Иван Петрович. Сходство было поразительное, отличие заключалось лишь в том, что академик И. П. Павлов после перелома ноги заметно прихрамывал, а у его двойника была ровная походка. "Тогда я и поняла, откуда пошла эта легенда", — написала она в своих воспоминаниях.

Если собрать все легенды об И. П. Павлове, может получиться отдельная книжка. Но главное — не просто пересказать полуфантастические истории, будто бы случившиеся с великим ученым. Гораздо интереснее и важнее понять, почему наш соотечественник приобрел такую легендарную известность, в том числе и за рубежом своей страны.

"ЧТО НИ ДЕЛАЮ — СЛУЖУ МОЕМУ ОТЕЧЕСТВУ"

За рубежом работы И. П. Павлова по изучению мозга стали известны намного позже, чем в России. Его знаменитый доклад на Мадридском международном съезде физиологов в 1902 году фактически прошел мимо его коллег: он слишком опережал тот уровень исследований, на котором они работали. Ни его имевшая большой успех лекция в Лондоне об изучении "так называемой душевной деятельности высших животных", ни даже сенсационное сообщение на следующем международном конгрессе, в Гронингене в 1913 году, об исследовании высшей нервной деятельности не приблизили ученых вплотную к пониманию павловских условных рефлексов.

И только в 1927–1928 годах, когда его труды были переведены на английский язык и изданы в Англии и Америке,

ученый мир смог подробно ознакомиться с павловскими экспериментами и воздать им должное.

Но самого Ивана Петровича иностранные ученые запомнили после первого появления. Гостя из далекой России старались встретить с особым почтением, не забывая, впрочем, что он очень ценит чувство юмора.

В 1912 году И. П. Павлов приехал в Кембридж получать почетное звание доктора. Церемония вершилась по средневековым традициям. Торжественная процессия медленно прошла по университетскому двору. Впереди будущих докторов, одетых в алые тоги и черные бархатные береты с золотым шнурком, важно шествовал канцлер в златотканой мантии. Серебряный жезл нес специальный гарольд, его сопровождали пажи. По сигналу — удару жезлом — посвящаемого подвели к креслу канцлера, на латыни звучало цветистое хвалебное слово. "Ничего не разобрал, — вспоминал Иван Петрович, — хотя всю юность долбил латынь".

Когда же он после вручения диплома проходил через зал сената, с галереи для публики ему в руки опустили игрушечную собаку, утыканную резиновыми и стеклянными трубками, наподобие павловских животных. Этот шуточный символический дар преподнесли Ивану Петровичу студенты-физиологи, заранее подвесившие игрушку на длинной веревке, протянутой от галереи к галерее. И. П. Павлов был весьма доволен (шутка была в его духе) и хранил этот сувенир в своем кабинете в Ленинграде.

Популярность его росла раз от разу. Никто из наших ученых не пользовался таким авторитетом на Западе, как И. П. Павлов.

На Международном конгрессе в Бостоне в 1929 году Ивану Петровичу исполнилось восемьдесят лет. Его чествовали как самого выдающегося человека в этом громадном собрании. Из России пришли поздравительные телеграммы, в том числе от Академии наук и известного театрального режиссера В. Э. Мейерхольда. "Гениальное учение Ваше об условных рефлексах, — говорилось в его послании, — имеет громадное значение для нас, работающих над проблемой актера на сцене, для которого так важен Вами данный анализ проявлений нервной деятельности и так блестяще отвергнутый Вами фетиш души".

Его яркие выступления на конгрессе вызывали долгие восторженные аплодисменты в зале. Но, верный себе, великий физиолог в ответ роптал и даже, случалось, грозил кулаками, стараясь прекратить эти "помехи в работе". Академик И. П. Павлов не только не стремился к славе, но и просто-напросто тяготился излишней популярностью.

Профессор Кембриджского университета Дж. Баркрофт,

вспоминая встречи с И. П. Павловым, писал: "...На больших торжествах, куда все другие ученые являлись украшенными всеми атрибутами внешности, во всеоружии своего положения, Павлов, из них самый великий, выступал в простом одеянии из грубого синего сукна и возвысил этот костюм до мундира, затмившего своим достоинством все остальные. Он имел выправку военного, был несколько худощав, но энергия в нем была ключом: он являлся олицетворением благородства и сердечной доброты".

Оценивая визит 80-летнего И. П. Павлова в Америку, профессор Д. Г. Келлог говорил, что это "было триумфальное шествие, когда от одного собрания ученых он переходил к другому. И был встречен повсюду с такими овациями и уважением, какие редко выпадали на долю ученых всех времен".

На обратном пути академик И. П. Павлов посетил Англию, где был принят в Лондоне в королевском медицинском обществе, президент которого, представляя гостя коллегам, сказал:

"Разрешите обратить Ваше внимание на то, что я считаю наиболее важным на нашем празднике. Движимые одним общим чувством, выдающиеся люди всех стран единодушно провозгласили Павлова своим героем..."

Когда спустя еще пять лет академик И. П. Павлов приехал в Лондон на Международный конгресс неврологов (где он выступил с докладом о типах высшей нервной деятельности), корреспонденты встретили его еще в Дувре, и первые интервью были взяты по дороге в Лондон. На вокзале "Виктория" ученого опять ожидали фотографы и представители прессы. По словам нашего посла в Англии И. М. Майского, приезд И. П. Павлова явился "крупнейшей сенсацией не только для конгресса, но и для английской печати и общественности".

На следующее утро на пресс-конференции в советском посольстве И. П. Павлов красочно объяснял журналистам свою теорию темпераментов. Он совершенно очаровал слушателей. И один из известных лондонских журналистов подошел к нашему послу и с восхищением произнес:

"Как вы умеете сохранять таких людей? Ему 86 лет, а ведь это не человек, это концентрированная умственная энергия!"

Иван Петрович Павлов приобрел за рубежом много друзей и почитателей. Американский физиолог У. Х. Гент приехал в Россию вскоре после окончания медицинской школы на четыре месяца для стажировки. Здесь он познакомился с И. П. Павловым и остался в его лаборатории на целых семь лет! У. Х. Гент совершенно не владел русским языком и даже, по его собственному признанию, русским алфавитом. Он выучил русский, чтобы читать труды И. П. Павлова. "Учение Павлова

было тем ветром, который наполнил паруса моего корабля надеждой. Этот ветер подул так сильно, что привел меня через бурные моря ложных философий к пристани, где научный метод порождает факт", — сказал он, уезжая домой.

Увлечшись учением об условных рефлексах, он перевел павловский "Двадцатилетний опыт объективного изучения высшей нервной деятельности" на английский язык. Вернувшись в США, организовал в 1930 году лабораторию имени И. П. Павлова при Университете Джона Гопкинса в Балтиморе, а в 1952 году — американское "Павловское общество", которое до сих пор регулярно проводит симпозиумы по дальнейшей разработке учения об условных рефлексах. Он стал одним из самых рьяных пропагандистов павловских идей в США.

У. Х. Гент еще дважды приезжал в Советский Союз, навещал И. П. Павлова в Колтушах. В годы Великой Отечественной он был вице-президентом Организации помощи России.

Американский психолог Г. М. Йеркс долгое время был знаком с Иваном Петровичем заочно — по переписке. Над его письменным столом много лет висел портрет И. П. Павлова. Впервые увидел великого физиолога, когда тому было 75 лет, на Международном конгрессе в Бостоне. "Я думал, что знаю его благодаря этой фотографии и по его статьям, — написал он в своих воспоминаниях. — Я совсем не был подготовлен к его замечательным личным качествам. Знакомство с профессором И. П. Павловым было возбуждающим и подкрепляющим, подобно прикосновению свежего ветерка. Живой и благородный как в похвалах, так и в созидательной критике, он интересовался всем, этот настоящий гражданин мира, потому что он является бескорыстным и преданным искателем истины".

Профессор Гарвардского университета, один из основоположников кибернетики, У. Б. Кеннон был близким другом Ивана Петровича. Когда академик И. П. Павлов приезжал в США, то нередко гостил у своего коллеги, как и он, в течение долгого времени возглавлявшего кафедру физиологии. Павловские 80 лет весело и сердечно были отпразднованы в семье У. Б. Кеннона. Последний приезд академика И. П. Павлова в Америку был отмечен особенно торжественно. Его выехали встречать на катерах далеко в море, и в сопровождении такого эскорта Иван Петрович ступил на американскую землю.

Даже сами американцы признавали, что исключительным вниманием И. П. Павлов пользовался не только за свои превосходные личные качества и выдающиеся научные труды. К этим заслугам присоединялась его горячая любовь к России, которая чувствовалась буквально во всех его словах и поступках.

Скульптор С. Т. Коненков, встретившись в Нью-Йорке "с этим мудрейшим и веселым человеком", поразился, с какой гордостью Иван Петрович говорил о Ленинграде, о Васильевском острове и Летнем саде. Среди небоскребов Нью-Йорка он тосковал по родным рязанским просторам, заливым лугам над Окой. И так разбередил душу художника, что тот тоже мысленно перенесся в дорогу его сердцу Смоленщину, вспомнил "свою" Десну... "Павлов прекрасно знал русские сказки, — говорил он потом, — множество народных сказов и прибауток... И разговор его был очень русским. Каждое слово было к месту. Видно было, что наши народные пословицы вошли в плоть и кровь моего собеседника".

Иван Петрович Павлов впервые живо и красочно раскрыл перед людьми Запада образ истинно русского человека — мудрого, смекалистого, удивительно непосредственного, корнями выросшего в землю своего Отечества, — во всем величии и простоте самобытной натуры.

"Павлов глубоко любил свою Родину и работал для нее, — писал английский физиолог, профессор Лондонского университета А. В. Хилл. — Лучшее, что в нем было, он отдавал своей стране".

Сам он не раз говорил, что одним из важнейших двигателей его работы было желание послужить доброй славе русского народа. "Что ни делаю, постоянно думаю, что служу этим, сколько позволяют мне мои силы, прежде всего моему Отечеству". И какова же была сила этих патриотических чувств, если она преодолела и традиционное высокомерие западных ученых к русским коллегам, которые будто бы у себя на Родине не могут стать учеными с мировым именем, и предубеждение против Советов. Ивана Петровича Павлова заслуженно славили как русского ученого, посланца Советской страны.

Во время пребывания его в Швейцарии в 1931 году иностранные ученые, глубоко почитая Ивана Петровича, подняли вопрос о введении русского языка наряду с английским, французским и немецким как международного на конгрессах и симпозиумах.

Он был этим немало обрадован, а вообще-то ездить за границу не любил. Отчеты о командировках писал короткие, в нескольких фразах уместая весь "научный багаж":

"Академик И. П. Павлов был в командировке с 24 августа по 15 сентября. Прямо направился в Берн на Международный неврологический конгресс и сделал на нем доклад об экспериментальных неврозах, а кроме того, вел беседы со многими членами по вопросу физиологии и патологии нервной системы. Вторую половину командировки провел в Берлине, в

книжном магазине, расположившись в отдельной комнате и пробегаая новейшие книги по физиологии, невропатологии и психологии..."

В самый разгар поездки вдруг делался молчаливым, задумчивым:

— Сколько дней нам еще здесь жить? — спрашивал сына, который обычно сопровождал его: свободно владея европейскими языками, тот был переводчиком и секретарем при отце. — Когда отходит пароход?

Садясь за стол, вздыхал:

— Сначала подают дыню с солью, а потом какую-то травку. Не по мне все это! Лучше один хлеб буду есть...

А оказавшись на Родине, радостно говорил:

— Наконец-то борща и каши поем...

Заграничные порядки ему не нравились.

Первое посещение Америки чуть не отбило у Ивана Петровича охоту приезжать сюда еще раз. Проведя несколько дней в Нью-Йорке, И. П. Павлов в сопровождении сына отправился в Нью-Хевен и Бостон. На Большом центральном вокзале они вошли в пустой вагон поезда. Следом за ними — трое подозрительных мужчин. Один стал у двери, двое других, пока сын Ивана Петровича укладывал чемоданы, схватили 74-летнего Павлова, обыскали его, выхватили бумажник и скрылись, унеся с собой все имевшиеся деньги.

Пришлось вернуться. Профессор И. П. Павлов был чрезвычайно раздосадован и чувствовал себя оскорбленным. На вопрос о его нарушенных планах он сердито ответил, что собирался побывать в Бостоне и в Биологической лаборатории Вудса Хола. После чего намеревался вернуться в Россию, где он будет в безопасности!

Разумеется, намеченную программу Ивану Петровичу предоставили возможность выполнить, но осадок остался.

На XIV Международном конгрессе в Риме тоже не все прошло гладко.

Почему это конгресс физиологов должен открывать сам дуче — фашист Муссолини? К тому же, когда Иван Петрович с сыном вышли после заседания на улицу, все оказалось оцеплено: ждали приезда дуче. В сопровождении одного из охранников они вынуждены были пробираться к отелю какими-то проходными дворами.

Затем участников конгресса пригласили на прием к римскому папе, и при этом — виданное ли дело! — на пропуске было написано, как должны быть одеты мужчины, а для женщин даже приложен рисунок платья. Иван Петрович, само собой, идти

отказался и не видел, как верующие католики подходили к папе для благословения и целовали его туфлю, а то был бы повод высмеять такой обычай.

Здесь же, в Риме, было решено следующий, XV конгресс провести в Ленинграде под председательством И. П. Павлова. Теперь "все флаги в гости будут к нам", в Россию. Иван Петрович уезжал домой довольный — еще одно дело "во славу русского народа" удалось ему совершить.

БОГАТЫРЬ В НАУКЕ

XV Международный физиологический конгресс в Ленинграде стал апофеозом научной деятельности академика И. П. Павлова. Ему исполнилось 86 лет!

Это был 1935 год. Страна, оправившись от гражданской войны и разрухи, уверенно набирала темп. Павловские Колтуши процветали.

С помощью открытого им феномена Иван Петрович Павлов подробно исследовал высшую нервную деятельность. Почти вся современная наука о мозге уходит корнями в павловские рефлексy.

Иван Петрович стремился использовать условные рефлексy не только как способ изучения мозга. Он старался всесторонне исследовать и происхождение самих рефлексов, их последовательное развитие у разных животных: от низших до человекообразных обезьян. С этой целью в Мурманске была создана специальная лаборатория сравнительной физиологии, которую возглавил по рекомендации И. П. Павлова его ученик — Евгений Михайлович Крепс.

Тогда же в Колтушах появляются знаменитые Роза и Рафаэль — человекообразные обезьяны, с которыми работал сам Иван Петрович. На собаках основная механика рефлексов была изучена, надо было установить, как они проявляются в высшей нервной деятельности человека, в нормальной и измененной болезнью психике.

Обезьяны были переходным звеном. Значение павловского учения для понимания психической деятельности человека в то время уже осознали и ученые, и врачи, и педагоги. В 1931 году были открыты две специальные клиники. Одна, расположенная на 15-й линии Васильевского острова, была неврологической. Другая, разместившаяся неподалеку, на 5-й линии,

предназначалась для наблюдений за больными с расстройшенной психикой.

Академик И. П. Павлов проводил здесь свои наблюдения: "Мой умысел был найти в расстройствах высшей мозговой деятельности данные для анализа этой деятельности. Я и при этом, как и в лабораторном изучении физиологии больших полушарий, старался стоять на чисто физиологической точке зрения, постоянно переводя психические явления на физиологические основы".

Может быть, этот переход от исследования высшей нервной деятельности животных к изучению психологии человека, который только-только наметился в конце научной работы академика И. П. Павлова, был бы чреват такими же кардинальными открытиями, какими стали в свое время условные рефлексы.

"Прожито как будто немало, — говорил он, — я очень-очень хочу жить еще долго... хоть до ста лет... И даже дольше! Почему так хочется мне жить очень долго? Прежде всего для моего дорогого сокровища — моей науки. Мне хочется непременно самому закончить работы по условным рефлексам, укрепить тот мост от физиологии к клинике, к психологии, который уже можно считать начерно переброшенным..."

Но не хватило отпущенного ему судьбой времени.

Доделывать начатое пришлось ученикам Ивана Петровича. Однако "последняя тайна жизни": загадка сознания, мышления — столь сложна, что и жизней его учеников оказалось мало, чтобы разгадать ее до конца. Конечно, сейчас мы продвинулись намного дальше, чем в павловские времена, в представлении о том, как работает мозг. Его мысль о машинности мозга оказалась очень верной. Правда, речь идет теперь не о кибернетической машине, как думали совсем недавно.

Кибернетический бум утих, принеся с собой живительную идею о том, что работа мозга — это вычисление управляющих команд, подобное тому, что делает бог современной техники — компьютер. Но живой, думающий мозг — это больше, чем быстродействующая вычислительная машина. А вот что именно стоит за нашей способностью думать, как конкретно зарождаются мысли, еще неизвестно.

Исследователи мозга знают многое о том, как протекают мыслительные процессы, какие явления в нервной системе им соответствуют и обеспечивают саму возможность их возникновения. Даже расшифрованы азы этого психологического кода. И все-таки пока лишь азы. Проблема рождения мысли так и не решена.

"Главная тайна жизни" ждет своих первооткрывателей. На ее разгадку нацелены силы самых крупных специалистов во всем мире, над ней бьются многие институты как у нас в стране, так и за рубежом.

Станция же в Колтушах была создана в первую очередь для генетических исследований. Надо было изучить врожденные свойства нервной системы и как они проявляются в высшей, психической деятельности. Ведь в павловских лабораториях давно заметили, что условные рефлексы вырабатываются у разных собак по-разному. И разницу в поведении собак, в их "врожденных способностях" Иван Петрович связывал с тем, к какому нервно-психическому типу относится животное. Эта версия требовала проверки. Для того и была построена Лаборатория экспериментальной генетики.

Какое большое значение И. П. Павлов придавал этим исследованиям, можно понять хотя бы по тому, что перед зданием лаборатории, кроме скульптур основоположников рефлексов — Рене Декарта и И. М. Сеченова, был сооружен памятник Грегору Менделю — основателю генетики.

С генетикой у Ивана Петровича были свои счеты. В 1935 году умер его младший сын и помощник. У Павловых было трое сыновей и дочь. Средний сын, Виктор, умер от сыпного тифа в первые годы после революции. Теперь отец, уже старик, снова хоронил родного человека — совсем еще молодого и самого близкого из детей. Всеволод умер от рака поджелудочной железы. Болезнь эту Иван Петрович считал наследственной. У гроба сына он сказал:

"Всеволод! Даю тебе слово, что мучительный конец твоей надломленной и рано оборванной жизни не пропадет даром. Я имею некоторый голос среди молодежи. Этим голосом я расскажу твою роковую историю. Она лишний раз толкнет людское внимание в сторону одной уже известной важнейшей научной истины — законов наследственности Менделя. Воплотившись, сделается жизненным правилом, эта истина освободит человека из-под груды скорбей и обеспечит ему здоровье и радостное существование".

Есть что-то противоестественное и глубоко несправедливое, когда родителям приходится навсегда прощаться с детьми. Такое горе может сломить самого сильного человека. Иван Петрович выдержал это испытание. В августе того же, 1935 года он, как президент XV Международного конгресса, открывает заседание.

Это был один из первых научных форумов такого масштаба, проводимый в Стране Советов. Он имел большое политическое значение. Престиж конгресса возрос еще и потому, что проходил

под председательством столь авторитетного ученого, как академик И. П. Павлов.

Конгресс был блестяще организован. Торжественное открытие его состоялось в Таврическом дворце, зал которого был празднично украшен.

"Присутствующие были рады, что еще застали Павлова в живых и что он председательствовал на этом памятном собрании, — вспоминал американский физиолог Д. Ф. Фултон. — Он несколько раз болел, около четырех месяцев до этого заболевание пневмонией угрожало его жизни, но, казалось, судьба решила, что он должен дожить до конгресса. Он председательствовал с чрезвычайной живостью на открытии, присутствовал на следующих за этим научных заседаниях, занимал беседой многих делегатов на завтраках и обедах и еще раз председательствовал на официальном банкете в Детском Селе... Весь этот конгресс остался в памяти торжеством, завершающим жизнь великого ученого".

И программный доклад, который делал его друг У. Б. Кеннон, и вступительная речь самого Ивана Петровича были посвящены не только научным достижениям. Большие ученые никогда не стоят вне политики. 1935 год принес тревожные вести из Германии, Италии, Испании: поднимал голову фашизм, "коричневая чума" грозила захватить всю Европу.

С мудрой прозорливостью академик И. П. Павлов предупреждал ученых о грозящей миру опасности:

"Война, по существу, есть звериный способ решения жизненных трудностей, способ, недостойный человеческого ума с его неизмеримыми ресурсами".

Его друг из далекой Америки тщательно готовил свой доклад, стараясь, чтобы он помог делу свободы в тех странах, где она была под угрозой. Недаром немецкие делегаты-нацисты, прекрасно понявшие, что слова У. Б. Кеннона о важности свободы мнений для научных работников были, по существу, критикой нацизма, требовали от американского физиолога публичного извинения. Но остальные участники конгресса дали отпор сторонникам гитлеризма.

Заключительное заседание конгресса проходило в Москве, в Большом зале консерватории. Именно здесь профессор Бердджер из Шотландии в прощальном слове от имени всех делегатов присвоил Ивану Петровичу Павлову необычный титул — первого физиолога мира: *princeps physiologorum mundi*. Такого звания не имел ни один из ученых.

Выступая вечером в Кремле на приеме в честь делегатов конгресса, "старейшина" физиологов произнес ответную речь:

"Вы слышали и видели, какое исключительно благоприятное положение занимает в моем Отечестве наука. Сложившиеся у нас отношения между государственной властью и наукой я хочу проиллюстрировать таким примером: мы, руководители научных учреждений, находимся прямо в тревоге и беспокойстве по поводу того, будем ли мы в состоянии оправдать все те средства, которые нам предоставляет правительство. Как вы знаете, я экспериментатор с головы до ног. Вся моя жизнь состояла из экспериментов. Наше правительство тоже экспериментатор, только несравненно более высокой категории. Я страстно желаю жить, чтобы увидеть победное завершение этого исторического социального эксперимента".

Его необычным, таким по-павловски самобытным тостом: "За великих социальных экспериментаторов!" — закончился этот последний в его жизни праздник науки, как бы подводя итог долгой, целеустремленной, самоотверженной деятельности "величайшего и гениального борца за науку, всей своей 87-летней жизнью доказавшего величие и силу научного творчества, — как говорилось после его смерти в обращении Академии наук СССР к академиям наук всего мира, — со всей яркостью и энергией своего характера поднявшего высоко знамя советской науки перед всем миром и перед последующими поколениями".

Всего каких-нибудь полгода отделяют XV Международный конгресс физиологов от скорбного рубежа. В том же Таврическом дворце, где недавно открывался знаменательный научный форум, был установлен гроб с телом академика И. П. Павлова. До Волкова кладбища его везли на орудийном лафете. Страна прощалась с Иваном Петровичем Павловым как с народным героем. В учреждениях, на предприятиях Ленинграда состоялись митинги, на улицах были вывешены траурные флаги, тысячи ленинградцев шли за гробом, толпы людей стояли вдоль тротуаров на всем пути траурной процессии.

Его имя осталось в названии ведущего физиологического института в Ленинграде и одной из ленинградских улиц. Его кровное детище — любимые Колтуши — теперь называется Павлово. Студенты-медики получают стипендию его имени. Его квартира в Ленинграде и родной дом в Рязани стали музеями. Музей И. П. Павлова есть и в Институте экспериментальной медицины. Его портреты — на страницах школьных учебников.

Полвека, прошедшие без него, отодвинули фигуру академика И. П. Павлова в историческую даль.

Что знают о Павлове современные школьники? Великий ученый, корифей, первооткрыватель основ, классик естествознания, стоящий в одном ряду с такими фигурами, как И.

Ньютон, Ч. Дарвин, Д. Менделеев... Не живой человек, а мраморный памятник, вознесенный на недостижимую высоту. Но как равняться на мраморное изваяние? Очень важно сквозь "бронзы многопудье" разглядеть живого, реального человека, чтобы было кому подражать, за кем тянуться, "делать жизнь с кого".

Крутой по характеру, вспыльчивый, даже резкий и в то же время увлекающийся, страстный в проявлении своих чувств, он был вполне земной. В чем же его величие? Что привело сына рязанского священника в науку, на самый передовой ее рубеж? Что заставило его беззаветно служить своему новому богу — естествознанию?

Теперь мы знаем ответ: им двигала сила духа, энтузиазм и самоотверженность. Его удивительно целенаправленная жизнь, программу которой он четко определил в тридцатилетнем возрасте и упорно ей следовал, — тому пример.

Познакомившись с обстоятельствами его жизни, с удивительной, намного опередившей свое время личностью Ивана Петровича, проследив, как он шел к своим вершинам, осознаешь его поразительную близость к нам.

А одержимость И. П. Павлова, его фанатичная преданность науке, неумная жадность к жизни, самозабвенное служение своему делу — наглядный пример активной жизненной позиции, которой так не хватает порой даже молодым в наше рассудочное и слишком рационалистическое время.

Он много думал о будущем науки и страны, о тех, кто придет на смену. Он чувствовал ответственность, кому передаст научную эстафету. Незадолго до смерти он обратился с письмом к молодежи — своей научной смене. Нельзя без волнения читать эти проникнутые оптимизмом и верой, такие сегодняшние по мысли, по-павловски образные строки. К нам, людям, стоящим на пороге XXI века, когда наукой занята добрая половина всего населения Земли, обращены слова нашего современника — Ивана Павлова.

ПИСЬМО К МОЛОДЕЖИ

Что бы я хотел пожелать молодежи моей Родины, посвятившей себя науке?

Прежде всего — последовательности. Об этом важнейшем условии плодотворной научной работы я никогда не смогу

говорить без волнения. Последовательность, последовательность и последовательность. С самого начала своей работы приучите себя к строгой последовательности в накоплении знаний.

Изучите азы науки прежде, чем пытаться взойти на ее вершины. Никогда не беритесь за последующее, не усвоив предыдущего. Никогда не пытайтесь прикрыть недостатки своих знаний хотя бы и самыми смелыми догадками и гипотезами. Как бы ни тешил ваш взор своими переливами этот мыльный пузырь — он неизбежно лопнет, и ничего, кроме конфуза, у вас не останется.

Приучите себя к сдержанности и терпению. Научитесь делать черную работу в науке. Изучайте, сопоставляйте, накапливайте факты. Как ни совершенно крыло птицы, оно никогда не смогло бы поднять ее ввысь, не опираясь на воздух. Факты — это воздух ученого. Без них вы никогда не сможете взлететь. Без них ваши "теории" — пустые потуги.

Но, изучая, экспериментируя, наблюдая, старайтесь не оставаться у поверхности фактов. Не превращайтесь в архивариусов фактов. Пытайтесь проникнуть в тайну их возникновения. Настойчиво ищите законы, ими управляющие.

Второе — это скромность. Никогда не думайте, что вы уже все знаете, И как бы высоко ни оценивали вас, всегда имейте мужество сказать себе: я невежда.

Не давайте гордыне овладеть вами. Из-за нее вы будете упорствовать там, где нужно согласиться, из-за нее вы откажетесь от полезного совета и дружеской помощи, из-за нее вы утратите меру объективности.

В том коллективе, которым мне приходится руководить, все делает атмосфера. Мы все впряжены в одно общее дело, и каждый двигает его по мере своих сил и возможностей. У нас зачастую и не разберешь — что "мое", а что "твое", но от этого наше общее дело только выигрывает.

Третье — это страсть. Помните, что наука требует от человека всей его жизни. И если у вас было бы две жизни, то и их бы не хватило вам. Большого напряжения и великой страсти требует наука от человека. Будьте страстны в вашей работе и в ваших исканиях.

Наша Родина открывает большие просторы перед учеными, и нужно отдать должное — науку щедро вводят в жизнь в нашей стране. До последней степени щедро.

Что же говорить о положении молодого ученого у нас? Здесь ведь ясно и так. Ему многое дается, но с него многое спросится. И для молодежи, как и для нас, вопрос чести — оправдать те большие упования, которые возлагает на науку наша Родина.

В СЕРИИ «ПИОНЕР — ЗНАЧИТ ПЕРВЫЙ»
НЕДАВНО ВЫШЛИ КНИГИ:

М. Подгородников
НАМ ВОЛЬНОСТЬ ПЕРВЫЙ ПРОИЦАЛ (Радищев)

Н. Фомичев
ВО ИМЯ ИСТИНЫ И ДОБРОДЕТЕЛИ (Сократ)

О. Тихомиров
ИВАН — ХОЛОПСКИЙ ВОЕВОДА (Болотников)

В. Порудоминский
ЖИЗНЬ И СЛОВО (Даль)



ВЫПУСК 90 [78]

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

40 коп.